

АНТОН ИВАНОВИЧ
ДЕНИКИН



ПУТЬ РУССКОГО
ОФИЦЕРА

Судьба страны зависит от ее армии

ВЕЛИКИЕ ПОАКОВОДЦЫ

Антон Иванович Деникин

Путь русского офицера

Серия «Великие полководцы»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9362879
Путь русского офицера: ЭКСМО; Москва; 2014
ISBN 978-5-699-69623-9

Аннотация

Путь русского офицера – это служба или судьба? Для *Антонана Ивановича Деникина* (1872—1947) это был главный, непоколебимый, непреложный закон: служить Родине, защищать Россию, всегда, при любых обстоятельствах, как бы и куда бы ни повернула линия жизни.

Но каково это – любить Россию? И что означают для отдельного человека долг и патриотизм? Деникин иллюзий по этому поводу не испытывал и знал: любить Родину – это работа. И такая работа лавров обычно не приносит: «Я знаю, что я делаю самую неблагодарную работу и что меня будут поносить и, может быть, проклинать... Но кто-то должен эту работу сделать».

Для некоторых может стать откровением, что генерал царской армии Антон Иванович Деникин с давних пор был противником самодержавия. Но за что же он тогда боролся с большевиками? За власть? Безусловно – нет. Он делал свою «работу» – устанавливал диктатуру – но при этом считал ее временным, пусть и болезненным, однако необходимым переходом к демократическому строю. Который, как считал Антон Иванович, есть единственно возможный путь для России.

Военный и организаторский гений Деникина неоспорим. Его называют «одним из самых результативных генералов русской армии в Первой мировой войне», пишут, что он «добился наибольших военных и политических результатов среди всех руководителей Белого движения». И наилучшей похвалы он удостоился от своего самого заклятого врага – Ленина. В 1919-м вождь РКП(б) обратился ко всем организациям партии с письмом под лозунгом «Все на борьбу с Деникиным!», в котором называл деникинское наступление «самым критическим моментом социалистической революции».

Деникин всегда считал борьбу с большевизмом своим гражданским долгом: и когда возглавлял Белое движение, и когда решил бороться с большевизмом «не оружием, а словом» – это был стержень его жизни. Однако его борьба не была слепой. И потому, когда Франция была оккупирована гитлеровцами, он категорически отверг предложение ведомства Геббельса о сотрудничестве.

Последними его словами, обращенными к жене, были: «Оставляю тебе и дочери имя без пятен». Сказать так в конце жизни – великая человеческая заслуга и единственная привилегия воина. Антон Иванович Деникин имел на нее полное право...

Литературное и мемуарное наследие Деникина обширно и представляет огромный интерес, ведь он был не просто свидетелем событий, изменивших историю России, но и во многом определил ход этих событий. В это издание вошли автобиографическая повесть «Путь русского офицера» и избранные главы из фундаментального труда Деникина «Очерки русской смуты», посвященного двум русским революциям 1917 года, Гражданской войне, становлению и борьбе Белого движения.

Электронная публикация трудов А. И. Деникина включает полный текст бумажной книги и избранную часть иллюстративного документального материала. А для истинных ценителей подарочных изданий мы предлагаем классическую книгу. Как и все издания серии «Великие полководцы» книга снабжена подробными историческими и биографическими комментариями; текст сопровождают сотни фотографий, иллюстраций из российских и зарубежных периодических изданий описываемого времени, с многими из которых современный читатель познакомится впервые. Прекрасная печать, оригинальное

оформление, лучшая офсетная бумага – все это делает книги подарочной серии «Великие полководцы» лучшим подарком мужчине на все случаи жизни.

Содержание

От Издательства	7
ПУТЬ РУССКОГО ОФИЦЕРА	23
Часть первая	23
Часть вторая	58
Часть третья	80
Конец ознакомительного фрагмента.	115



Антон Иванович Деникин
(1872—1947)

А. И. ДЕНИКИН

Путь русского офицера



От Издательства

Деникин, его жизнь и служение России – пример того, что историю лучше изучать диалектически, а не судить о ней по штампам и привычной логике. Кто такой Антон Деникин? Генерал царской армии, затем – один из организаторов Белого движения, согласно большинству оценок – самый успешный полководец, противостоявший красным в Гражданскую войну. Отсюда «автоматически» следует кажущаяся на первый взгляд логичной последовательность: «голубая кровь», т. е. происхождение, которое обязывает и обуславливает монархические убеждения, а затем – диктатор, мечтавший подчинить себе власть в России.

Не секрет, что наши представления об истории и исторических личностях по-прежнему во многом базируются на знаниях, полученных еще в советские времена. Так вот кого-кого, а Деникина советская историография вниманием не обделяла. Однако объектом изучения была не сама фигура военачальника, а – деникинщина. В самом этом слове, в том, как через него проходит это долгое «щ» – «щ-щ-щ-ина!» – чувствуется что-то зловещее, гнетущее – и очень опасное для молодой советской власти.

Но вот как определял «деникинщину» Советский энциклопедический словарь: «Деникинщина – режим белогвардейской контрреволюции, установлен генералом А. И. Деникиным при поддержке Антанты на Северном Кавказе и Украине в 1919 г. (численность вооруженных сил свыше 150 тыс. чел.; Добровольческая армия, Донская и Кубанская казачьи армии); опирался на крупную финансовую и промышленную буржуазию. Террор, социальная демагогия, великодержавный шовинизм. Ликвидирована Красной армией в январе-феврале 1920 г.».

А что здесь неправда? – может спросить читатель. Да, в общем-то, и ничего. Режим? Режим, и по общим чертам похожий на диктаторский. Опора на деньги буржуазии – вполне естественно, что да. И даже террор вкупе с демагогией и шовинизмом – не так уж и далеко от истины.

Можно, конечно, поспорить о численности войск деникинских армий или о поддержке Антанты, которая, по мнению самого Антона Ивановича, была явно недостаточной. Но суть не в этих нюансах, суть – в диалектике и акцентах. А они могут проявляться едва ли не от рождения.



Антон Иванович Деникин
(1872—1947)

Владимир Ульянов-Ленин, как известно, был сыном инспектора народных училищ, дослужившегося до действительного статского советника – что, согласно Табели о рангах, соответствовало чину генерал-майора и давало право на потомственное дворянство. Лейба Бронштейн, он же Лев Троцкий, – сын землевладельцев.

Григорий Зиновьев родился в семье обеспеченного владельца молочной фермы. Такой вот парадокс (впрочем, вполне объяснимый) – революцию, которая должна была принести

счастье пролетариату, делали по большей части люди совсем «непролетарского» происхождения.

И обратная сторона медали: Антон Деникин – один из злейших и непримиримых врагов большевистской власти, который был ближе всех, чтобы эту власть свергнуть, – вышел из самых низов и с детства не понаслышке знал, что такое бедность, когда денег не хватает на самое необходимое.

Его отец, Иван Ефимович Деникин, был крепостным, которого помещик отдал в рекруты. Двадцать с лишним лет тянул он солдатскую лямку, сумел выслужиться в офицеры и выйти в отставку в звании майора. Иван Ефимович умер, когда Антону было всего двенадцать. После этого и без того нелегкая жизнь стала совсем тяжелой – прожить на 20 рублей в месяц было невозможно. Пришлось мальчику подрабатывать репетиторством. И снова напрашиваются диалектические параллели: Деникин с детства сам зарабатывал себе на жизнь – в отличие от многих большевистских вождей, с которыми он боролся.

Антон родился на территории Польши, которая в то время входила в состав Российской империи. Его мать, Елизавета Федоровна, урожденная Вржесинская, была полькой по национальности. Ситуация достаточно распространенная – и подразумевающая выбор не только вероисповедания, но и, так сказать, национальности. Для Антона Деникина дилеммы не было – он, как и его отец, всегда считал себя русским и православным.

* * *

Пошел по стопам отца Антон и в выборе профессии – он мечтал стать военным и стал им. Путь русского офицера начался в 1-м стрелковом полку, дислоцировавшемся в городе Плоцке, в который Деникин записался вольноопределяющимся. В том же, 1890-м году, он поступил в Киевское юнкерское училище с «военно-училищным курсом». Строгая дисциплина и содержание, фактически приравненное к солдатскому, – не всем удавалось стоически перенести тяготы учебы, но только не Антону: он привык к этому с детства.

В августе 1892 г., после окончания двухлетнего курса в училище, Деникин был произведен в подпоручики и определен во 2-ю полевую артиллерийскую бригаду, расквартированную в Беле – уездном городе Седлецкой губернии, в 150 км от Варшавы. «Это была типичная стоянка для большинства войсковых частей, – вспоминал Антон Иванович, – заброшенных в захолустья Варшавского, Виленского, отчасти Киевского, военных округов, где протекала иногда добрая половина жизни служилых людей».

Но пусть и серые, но «деловые и бодрые, без уездных “гамлетов”, без надрыва» будни не засосали в пучину беспросветности, как это нередко случалось с другими молодыми офицерами, и потому свое пятилетнее пребывание в Беле Деникин вспоминал «с доброй улыбкой».

Здесь же, в Беле, Антон Иванович познакомился со своей будущей женой. Которой тогда... не было еще и года от рождения. Вскоре после приезда в Белу Деникин был приглашен на охоту. В ней принимал участие и служащий налогового ведомства Василий Чиж. Он слыл опытным охотником, однако едва спасся, забравшись на дерево, от разъяренного кабана. Этого кабана и убил Антон Деникин. После этого случая он стал другом семьи Чиж и вскоре был приглашен на крестины дочери Василия Чижа – Ксении.

Впоследствии Антон Иванович дарил Асе игрушки, затем следил за ее учебой в университете. А в 1916 г. генерал Деникин сделал 24-летней Ксении Чиж предложение. Однако, ввиду революционных событий 1917 г., свадьбу пришлось отложить, и они поженились только в начале 1918 г. В феврале 1919 г. Ксения Васильевна родила дочь, которую назвали Мариной. Вместе с мужем Ксения Деникина отправилась в эмиграцию. В 1947 г., после смерти супруга, она вернулась из США во Францию к дочери, где и прожила до 1973 г.



Главнокомандующий Вооруженными силами
Юга России А. И. Деникин.
Пропагандистский плакат Белого движения. 1919 г.

В своем призвании и жизненном пути Деникин не сомневался — он хотел сделать военную карьеру. А в те времена для этого был, фактически, один вариант — поступить в Акаде-

мию Генерального штаба. Что бы про нее ни говорили, как бы ни менялось отношение к Академии, именно она сулила офицеру продвижение по службе вплоть до самых верхов – ведь не случайно Академия считалась «кузницей генералов».

Но поступить в Академию (Деникин сделал это летом 1895 г.) – это даже не полдела. Учеба давалась тяжело, требовала полной сосредоточенности и отдачи. Но точно так же «требовала» к себе внимания и новая, столичная жизнь, которая просто не могла оставить равнодушным молодого офицера, до этого жившего в провинциальном захолустье. Как итог, после первого года учебы Антон был отчислен – подвел неудачно сданный экзамен по истории военного искусства. Молодой офицер был обижен, считая, что с ним поступили несправедливо. Много думал, что делать дальше, и... подавив в себе гордость, решил попытаться счастья в Академии еще раз. И, опять успешно сдав экзамены, поступил.

И снова будни учебы, учебники и специальная литература. Но не только – Антон успевал читать и другую литературу. В том числе и ту, что считалась «запрещенной», нелегальной. Деникин прекрасно отдавал себе отчет в том, что монархия как таковая и правительство дают немало поводов для осуждения. Но в то же время путь разрушения и ненависти, проповедовавшийся революционными агитаторами (да и не только ими – его буквально повергали в шок брошюры, в которых бывший офицер, участник Севастопольской кампании по имени Лев Толстой призывал армию к бунту и поучал, что «офицеры – убийцы»), – не для него.

«В академические годы сложилось мое политическое мировоззрение, – писал Антон Иванович. – Я никогда не сочувствовал ни “народничеству” (преемники его – социал-революционеры) – с его террором и ставкой на крестьянский бунт, ни марксизму, с его превалированием материалистических ценностей над духовными и уничтожением человеческой личности. Я принял российский либерализм в его идеологической сущности, без какого-либо партийного догматизма. В широком обобщении это приятие приводило меня к трем положениям:

- 1) конституционная монархия,
- 2) радикальные реформы и
- 3) мирные пути обновления страны.

Это мировоззрение я донес нерушимо до революции 1917 года, не принимая активного участия в политике и отдавая все свои силы и труд армии».

А ведь повод, чтобы вспылать ненавистью к правительству и существующим порядкам, у него был – да еще какой! «Дело капитана Деникина» взбудоражило не только военные круги, и поднятые им волны докатились до самых высших сфер.

Накануне выпуска курса, на котором учился Деникин, в Академии Генштаба сменился начальник: вместо заслуженного, но престарелого генерала Леера пришел Николай Сухотин – человек грубый и властный, не терпящий возражений. Но у него был один «большой плюс» – близкая дружба с тогдашним военным министром Алексеем Куропаткиным.

В причислении выпускников Академии к Генеральному штабу существовали определенные правила, основанные на полученных на экзаменах баллах. И Деникин, окончивший курс по 1-му разряду, этим правилам удовлетворял. Но в тот год Сухотин четыре раза менял списки назначенных в Генштаб выпускников. И если в первых двух фамилия Деникина была, то в третьем и четвертом – нет. Делалось это все под «лозунгом» реформирования Академии и задач, ставившихся перед ее выпускниками. И на каждую «реформу» у Сухотина была одобряющая резолюция Куропаткина.

Деникин обсудил создавшееся положение с тремя офицерами, так же как и он, незаслуженно выброшенными из списков. Единственным выходом виделась подача жалобы на действия вышестоящего начальства. Поскольку на документах имелась резолюция военного министра, то и жаловаться приходилось на него. А вышестоящим начальством Куропаткина был император.

Деникин жалобу подал, три его товарища по несчастью – нет: испугались. В итоге всех перипетий действия Сухотина были признаны незаконными. Но признание правоты неизвестного капитана из провинции в споре с военным министром Российской империи и начальником Академии Генерального штаба... Это было уж слишком.

Деникину предложили «полюбовный» вариант: он забирает свою жалобу и вместо нее пишет «прошение о милости», просьбу причислить его к Генштабу. Но сделку с честью и совестью Антон категорически отверг: «Я милости не прошу. Добиваюсь только того, что мне принадлежит по праву». В итоге в Генштаб его не приняли, с «гениальной» формулировкой – «за характер».

Неуступчивый капитан вернулся в Белу и продолжил службу во 2-й артиллерийской бригаде. В 1902 г. он снова написал Куропаткину, прося разобраться в ситуации. И добился-таки своего – военный министр выразил «сожаление, что поступил несправедливо», и испросил высочайшего позволения на зачисление Деникина в Генштаб. Которое и было вскоре получено.

* * *

Так закалялся характер русского офицера Антона Деникина, главной основой которого всегда оставалось чувство долга. В 1904 г. полк, в котором он служил, не выдвигался на Дальний Восток, но Деникин, еще толком не оправившийся после тяжелого падения с лошади, бомбардировал вышестоящее начальство просьбами отправить его на войну с Японией – и добился-таки своего.

С марта 1904 г. Антон Иванович служил в бригаде пограничной стражи. Его часть располагалась далеко в тылу, и основной ее задачей была борьба с бандами хунхузов. А в сентябре Деникин, недавно произведенный в подполковники, был назначен начальником штаба Забайкальской казачьей дивизии, входившей в так называемый Восточный отряд генерала Ренненкампа.

Штаб Ренненкампа слыл местом, где «голова плохо держится на плечах», – многие из тех, кто служили там, были убиты или ранены. Но Деникину и этого мало, и он просит начальство дать ему возможность непосредственно участвовать в боевых операциях. За отличие и храбрость к концу войны Антон Иванович был произведен в полковники и награжден орденами Святого Станислава 3-й степени и Святой Анны 2-й степени.

Пока шла война, в России началась революция. Пока еще никто не знал, что она была первой и что через двенадцать лет будут еще вторая и третья. Не знал этого и Антон Деникин. Но, проехав через всю страну, объятую анархией и разложением («майн-ридовский рейд в модернизированном виде», как он сам описал эту поездку), он четко осознал: революция – это зло, она принесет несчастья России.

* * *

Антон Иванович вернулся в Варшаву, затем служил в Казани и Саратове. Служба позволяла в свободное от нее время заниматься писательством. В армейских газетах и журналах то и дело появлялись заметки Деникина, в которых он едко «обрабатывал» вышестоящее начальство. Он анализировал прошедшую Русско-японскую войну, выступал против бюрократизма, отношения к солдату, как к «скотине», ратовал за реформы в армии, за ее техническое перевооружение. А еще он обращал внимание на германо-австрийскую угрозу, которая неизбежно должна была привести к новой войне.

Сложилась удивительная ситуация. С одной стороны, Антон Деникин был далеко не единственным, кто предупреждал о грядущей войне. А с другой – даже после выстрелов

Гаврилы Принципа в Сараево – многие по-прежнему верили, что ничего не случится, что мир крепок и нерушим. И эти многие – отнюдь не только простые обыватели. Сербский министр обороны, например, в июле 1914 г. пребывал на курорте, был в отпуске и российский министр иностранных дел Сазонов. И лишь за неделю до 1 августа маховик закрутился до такой степени, что стало ясно абсолютно всем – начнется. И началось...

Первая мировая свела вместе двух выдающихся военачальников – Антона Деникина и Алексея Брусилова. Первый незадолго до начала войны был произведен в генерал-майоры и назначен генерал-квартирмейстером 8-й армии; второй – этой армией командовал. Отношения между Брусиловым и Деникиным, особенно после войны и революций, складывались не просто. Брусилов считал, что преждевременные и непомерные амбиции таких людей, как Деникин и Корнилов, и привели к победе большевиков.

А Антон Иванович не мог простить Брусилову службу красным. Имел ли он на это право? Согласно своим убеждениям – да: для Деникина любое сотрудничество с большевистским режимом было предательством идеалов русского офицера, хотя справедливости ради надо признать, что Алексей Алексеевич долгое время сохранял демонстративный нейтралитет и вступил в Красную армию только тогда, когда Гражданская война фактически закончилась и над Россией нависла угроза иностранной – польской – интервенции. Так или иначе, при всей сложности взаимоотношений Деникин и Брусилов не могли не признавать заслуг и достоинств друг друга.

«В начале кампании генерал-квартирмейстером штаба моей армии был Деникин, – вспоминал Брусилов, – но вскоре он, по собственному желанию служить не в штабе, а в строю, получил, по моему представлению, 4-ю стрелковую бригаду, именуемую “Железной”, и на строевом поприще выказал отличные дарования боевого генерала».

4-я бригада была действительно «железной», ее часто, как «последнее средство», перебрасывали туда, где было особенно трудно. В феврале 1915 г. Деникину, уже не раз отличившемуся в боях, предложили возглавить дивизию, однако он отказался, не желая расставаться со своими «железными» стрелками. В итоге командование решило реформировать 4-ю стрелковую бригаду в дивизию.

1915 год – год отступления русской армии. Оно хоть и было названо «великим», однако повергало в уныние и убивало надежду на победу. И очень немногим в тот год удавалось доказать: русская армия – жива и способна побеждать. Среди этих немногих был и Антон Деникин и его «железные» стрелки.

В сентябре 1915-го его дивизия неожиданным маневром, буквально «одним махом», захватила Луцк; сам командующий въехал в город на автомобиле и послал телеграмму Брусилову о взятии Луцка. Через месяц «Железная» дивизия захватила Чарторыйск, что в тяжелой обстановке позволило отвлечь значительные силы противника.

После этого на фронте наступило затишье. А затем была 4-я Галицийская битва, более известная под названием «Брусиловский прорыв». Интересно, что написал бы Антон Иванович в своей автобиографической книге об этой операции – одной из самых выдающихся не только в Первой мировой войне, но и в истории военного искусства вообще? И как бы он охарактеризовал действия своего «идеологического противника» Алексея Брусилова, возглавившего знаменитый прорыв? Но, к великому сожалению, сердце Деникина не выдержало как раз в тот момент, когда он приступил к описанию событий лета 1916 года...

Дивизия Деникина и во время Брусиловского прорыва была в самой гуще событий. 23 мая (5 июня) «железные» стрелки во второй раз взяли Луцк. Их командир был награжден Георгиевским оружием с бриллиантами. Кроме Деникина, за годы Первой мировой этой награды были удостоены всего семеро.

В конце 1917 г. Антон Иванович получил под свое начальство 8-й корпус и отправился на Румынский фронт. После Галиции этот фронт был какой-то невнятный и даже, если

можно так сказать, бессмысленный. В 1916 г. Румыния наконец-то вступила в войну на стороне Антанты. Но ее многочисленная армия была настолько плохо подготовлена и снабжена, что стала для союзников не реальной подмогой, а обузой, на помощь которой приходилось постоянно перебрасывать войска с других участков.

В Румынии Деникина застало известие о Февральской революции. «Войска были ошеломлены,— так описывал он реакцию вверенных ему частей,— трудно определить другим словом первое впечатление, которое произвело опубликование манифестов [об отречении]. Ни радости, ни горя. Тихое, сосредоточенное молчание».

Пусть и в контролируемой, но все-таки в прострации пребывал и сам Антон Иванович. Он всю жизнь был убежденным сторонником эволюции, а не революции,— но понимал, что существующий строй изжил себя. До 1917 г. он был непоколебимым приверженцем конституционной монархии,— но видел, что эта монархия деградировала окончательно. Он сочувствовал хорошему, симпатичному человеку Николаю Романову,— но осознавал, что Николай II — плохой царь.

Так или иначе — свершилось. Николай и Михаил Романовы отреклись от престола, что освобождало русского офицера Антона Деникина от данной Романовым присяги. Временное правительство пришло к власти и намеревалось вести войну до победного конца, а значит, как думал тогда Деникин, ему было с ним по пути.

Но тревога за судьбы Родины не уходила. Сразу после революции Антон Иванович писал Ксении Чиж: «Теперь только одного нужно бояться: чтобы под флагом освободительного движения грязная накипь его не помешала конституционному успокоению страны. Какое счастье было бы для России, если бы “круг времен” замкнулся происшедшим в столице и к новому строю страна перешла бы без дальнейших потрясений». Счастья, как показали дальнейшие события, не случилось...



Встреча Антона Ивановича Деникина
и генерала Краснова. Фотография. 1918 г.

* * *

18 марта 1917 г. Деникин получил телеграмму военного министра Временного правительства Гучкова с предписанием немедленно выехать в Петроград. По дороге он услышал, как продавцы газет выкрикивают «последние известия»: «Назначение генерала Деникина начальником штаба Верховного главнокомандующего!...»

Ход, вполне объяснимый: новый Главковерх Михаил Алексеев, при всех своих достоинствах, считался человеком «мягкого характера». Потому-то Временное правительство и решило «прикрепить» к нему боевого генерала, способного принимать быстрые и неординарные решения. Это во-первых.

А во-вторых: Антон Иванович, неоднократно критиковавший бюрократизм и закосневшие устои русской армии, слыл человеком левых взглядов. Плюс назначение крестьянского сына Деникина должно было потрафить набиравшим силу советам солдатских депутатов, с которыми все больше и больше вынуждено было считаться Временное правительство.

Эти, казалось бы, верные расчеты не учитывали одного – реальных взглядов на происходящее самого Деникина. Да, он осуждал старый режим и принял в целом Февральскую революцию. Но при этом был категоричен: революционизирование и демократизация армии неизбежно приведут к ее развалу. Таким образом и были заложены основы будущего конфликта как между самим Деникиным и правительством, так и между Ставкой и теми, кто определял политику в Петрограде.

Отношения с Алексеевым у Деникина складывались поначалу непросто, однако затем они сработались. Но в мае 1917 г. Алексеева в должности Главковерха сменил А. А. Брусилов. И Деникин понял: в Ставке он оставаться более не сможет. Казалось бы, они хорошо знали и уважали (до сих пор) друг друга, вместе побеждали на фронтах войны. Но для Антона Ивановича это был уже «другой» Брусилов. Брусилов, который, в угоду «демократизации», отвергал едва ли не все решения, которые должны были сохранить хотя бы подобие военного устройства.

Алексей Алексеевич даже оправдывался перед Деникиным: «Антон Иванович, вы думаете, мне самому не противно постоянно махать красной тряпкой? Но армия больна, ее надо лечить. А другого лекарства я не знаю». Как говорится – у каждого своя правда...

В конце мая 1917 г. Деникин был перемещен на должность командующего Западным фронтом. Летнее наступление русской армии провалилось и грозило обернуться полной катастрофой. После этого Брусилов был смещен с поста Верховного главнокомандующего и на его место пришел генерал Лавр Корнилов.

Дмитрий Лехович, участник Белого движения и биограф Деникина, писал: «В жизни Антона Ивановича никто не сыграл такой огромной роли, как генерал Корнилов.

Обаяние его суровой личности с невероятной силой ворвалось в душу Деникина, обычно уравновешенную, а тогда измученную, оскорбленную и мятущуюся, и, найдя в ней горячий отклик, связало судьбу двух выдающихся русских людей в одном порыве: бороться за возрождение России».

Встреча Корнилова и Деникина была действительно из тех, что со всем основанием можно назвать судьбоносной – как для них самих, так и для истории России. И таким же судьбоносным был разговор двух военачальников в Могилеве. Главковерх раскрыл перед Деникиным все карты: «Нужно бороться, иначе страна погибнет. Ко мне на фронт приезжал Н. Он все носит со своей идеей переворота и возведения на престол великого князя Дмитрия Павловича; что-то организует и предложил совместную работу. Я ему заявил категорически, что ни на какую авантюру с Романовым не пойду.

В правительстве сами понимают, что совершенно бессильны что-либо сделать. Они предлагают мне войти в состав правительства... Ну нет! Эти господа слишком связаны с Советом и ни на что решиться не могут. Я им говорю: предоставьте мне власть, тогда я поведу решительную борьбу. Нам нужно довести Россию до Учредительного собрания, а там — пусть делают что хотят: я устраниюсь и ничему препятствовать не буду. Так вот, Антон Иванович, могу ли я рассчитывать на вашу поддержку?»

Ответ Деникина был краток, но столь же искренен: «В полной мере». В следующий раз Лавр Георгиевич и Антон Иванович встретились в провинциальном Быхове, что в 50 км от Могилева. В тюрьме.

* * *

Дело, выступление, восстание, заговор, мятеж, путч — события 27—31 августа (9—13 сентября) 1917 г. называли по-разному. Суть же одна — генералитет во главе с Лавром Корниловым попытался предотвратить окончательное разложение армии. Непосредственным поводом стало отстранение Корнилова с должности Главковерха.

Как только Деникин (в то время он находился в Бердичеве, где была ставка возглавляемого им Юго-Западного фронта) узнал об этом, он сразу же послал телеграмму в Петербург, выразив недоверие Временному правительству. Спустя два дня весь командный состав Юго-Западного фронта был арестован и помещен в бердичевскую тюрьму.

Через месяц Деникин и члены его штаба были переведены в Быхов, где в местной тюрьме содержались Корнилов и его сторонники. Несмотря на давление Керенского, специальная комиссия, созданная для расследования деятельности корниловской группы, подошла к делу непредвзято и «нужных» доказательств измены родине не обнаружила.

В Быхове Корнилов, Деникин и другие генералы узнали об октябрьском перевороте. Новая власть словно забыла о них. 19 ноября (2 декабря) 1917 г. новый Главковерх Николай Духонин, узнав о приближении к Могилеву эшелонов с революционными войсками, распорядился освободить арестованных. На следующий день Духонин был убит матросами на могилевском вокзале...

«Предъявитель сего есть действительно помощник заведующего 73-м перевязочным польским отрядом Александр Домбровский», в декабре 1917-го пробрался из Могилева в Новочеркасск. А в апреле 1920-го главнокомандующий Вооруженными силами Юга России Антон Деникин написал заявление об отставке, передал дела Петру Врангелю и на английском миноносце выехал из Крыма в Константинополь, навсегда покинув Россию.

За эти два года время для Антона Деникина, как и для всей России, сначала словно сжалось, а затем распрямилось цепью событий: создание, фактически из ничего, Добровольческой армии; 1-й Кубанский, он же «Ледяной», поход; штурм Екатеринодара и гибель Корнилова; 2-й Кубанский поход; слияние войск Деникина и атамана Краснова, благодаря которому возникли Вооруженные силы Юга России (ВСЮР); успехи ВСЮР в январе—октябре 1919 г., когда казалось, что большевики вот-вот будут разгромлены; перелом и неудачи, повлекшие отступление остатков Белого движения в Крым и дальнейший отход за границу.

Все это время Антон Деникин боролся, как мог, с русской смутой, делал все, что мог, — и даже больше. Но силы и возможности человеческие не беспредельны...



**А. И. Деникин на фронте Первой мировой войны.
Фотография. 1916 г.**

«Неизбывная скорбь» – так Антон Иванович описывал свои чувства, когда ему пришлось покинуть Россию. Подавленное состояние усилилось трагедией в Константинополе, куда Деникин прибыл из Крыма, – в непосредственной близости от Антона Ивановича был убит начальник его штаба генерал Иван Романовский. Убийца – из своих же, некто Мстислав Харузин, – бывший сотрудник деникинской контрразведки.

После недолгого пребывания в Константинополе Антон и Ксения Деникины прибыли в Великобританию. Англичане, видимо, не совсем понимали ситуацию и предлагали им поселиться в дорожных отелях. Им было трудно понять, что бывший «диктатор России» имел при себе разную валюты в эквиваленте... 20 фунтов.

Конечно, материальное положение можно было быстро поправить. Такая фигура, как Деникин, не могла остаться без внимания британских политиков, желавших использовать его в борьбе против большевиков. Антону Ивановичу предлагали возглавить правительство в изгнании. Но он отказался, заявив, что разбит душевно и крайне утомлен физически и что он – лицо частное и участвовать в политической деятельности не намерен.

А тут еще и странные «игры» министра иностранных дел Британской империи лорда Керзона. В «Таймс» появилась его нота, которую он еще в апреле 1920 г. послал наркому иностранных дел Советской России Чичерину. В ней, среди прочего, был и следующий пассаж: «Я употребил все свое влияние на генерала Деникина, чтобы уговорить его бросить борьбу, обещав ему, что, если он поступит так, я употреблю все усилия, чтобы заключить мир между его силами и вашими, обеспечив неприкосновенность всех его соратников, а также населения Крыма. Генерал Деникин в конце концов последовал этому совету и покинул Россию, передав командование генералу Врангелю».

Деникин был оскорблен и тотчас опубликовал опровержение. Уход с поста командующего ВСЮР он объяснил личными причинами и требованиями момента и заявил: «Как раньше, так и теперь, я считаю неизбежной и необходимой вооруженную борьбу с большевиками до полного их поражения. Иначе не только Россия, но и вся Европа обратится в развалины».

Остаться в Англии, особенно после того, как стало известно о намерении британского правительства заключить мирный договор с Советской Россией, Антон Иванович не хотел. В августе 1920 г. Деникины перебрались в Брюссель. Решив отныне бороться «словом и пером», он приступил к написанию главного произведения своей жизни – «Очерки русской смуты».

* * *

Первые литературные опыты Антона Деникина относятся еще к раннему детству. Он писал стихи, однажды даже отправил их в журнал «Новь». Стихи не напечатали, и Антон сделал вывод, что «поэзия – дело несерьезное». С прозой пошло лучше. В 1898 г. его первый рассказ был опубликован в журнале «Разведчик». В дальнейшем Антон Иванович много сотрудничал с этим еженедельником – первым в России «частным» периодическим изданием, посвященным военной тематике.

И хотя цензура не дремала, все-таки в «Разведчике» можно было сказать немного больше и острее, чем в официальных изданиях военного ведомства. Деникин же имел «нехорошую склонность» обличать и высмеивать тогдашние порядки в армии и особо «отличившихся» начальников. Одна из его заметок под названием «Сверчок», в которой Антон Иванович резко прошелся по командиру своей бригады генералу Сандецкому, стала даже причиной серьезных разбирательств.

Талант Деникина как публициста раскрылся после Русско-японской войны. В 1906–1910 гг. все в том же «Разведчике», а также в изданиях «Варшавский дневник», «Офицерская жизнь», «Военный сборник», «Русский инвалид» Антон Иванович опубликовал ряд статей, в которых с критической, но четко обоснованной позиции анализировал события прошедшей войны.

Первая мировая и последовавшая за ней Гражданская войны, естественно, не оставляли времени и возможностей для занятий литературой. К ней он вернулся, только оказавшись в эмиграции. В Великобритании, где Деникин пребывал с апреля по август 1920 г., он решил окончательно отойти от политической деятельности. И посвятить себя «Очеркам русской смуты» – фундаментальному исследованию Гражданской войны в России 1917–1920 гг.

Для Деникина «Очерки» стали и способом найти забвение от тяжелых переживаний, и средством поправить семейный бюджет. Но главное – Антон Иванович чувствовал потребность создать летопись Гражданской войны, обличить большевизм и предостеречь грядущие поколения от опасностей, которые таит в себе «революционная демократия».

Помимо «Очерков русской смуты», А. И. Деникин до начала Второй мировой войны написал и опубликовал сборник рассказов «Офицеры», книгу «Старая армия» – военно-историческое исследование Русской императорской армии. Последним же его трудом была книга «Путь русского офицера», которая, согласно авторскому замыслу, должна была стать введением и дополнением к «Очеркам русской смуты».

Извечная издательская проблема в изданиях, подобных данному: что включить в сборник, какие произведения и документы опубликовать, чтобы как можно полнее осветить жизнь и деяния главного действующего лица? А в случае с Деникиным она «усугубляется» плодovitостью Антона Ивановича – его литературное наследие велико и явно не соответ-

ствует формату отдельного тома. С одной стороны, как уже отмечалось, «Очерки русской смуты» – его главное произведение.

Но оно посвящено пусть и судьбоносному, но все же короткому отрезку времени из жизни Деникина, да и сам он, его судьба отодвинуты на второй план, уступив место национальной трагедии 1917—1920 гг. Последняя же книга Антона Деникина – «Путь русского офицера» – осталась, к великому сожалению, незаконченной, но она все же отражает значительный период его жизни – от рождения и первых лет жизни, становления как человека и русского офицера, до середины 1910-х гг., когда его имя уже гремело на фронтах Первой мировой.

Именно поэтому для нашего издания мы и выбрали такую схему: «Путь русского офицера» – основное произведение, стержень издания, и отдельные, самые важные главы из «Очерков русской смуты» – в качестве дополнения. Надеемся, что читатель не осудит нас за подобный выбор.

* * *

Бельгия – страна, дорогая для жизни. Так есть сейчас, так было и в 1920-х гг. Прожив в Брюсселе до июня 1922 г., Деникины, чтобы «вписаться» в скудный бюджет, решили перебраться в Венгрию. Венгерские официальные лица, как в свое время британские, не сразу смогли понять, что причины переезда «российского диктатора» – экономические. Но приняли их радушно, быстро оформили необходимые документы. Деникины поселились в Шопроне, небольшом городке на северо-западе Венгрии.

Поначалу «добротная» провинциальная глушь нравилась Антону Ивановичу, но затем он начал тяготиться оторванностью от людей и общественной жизни. Публикация «Очерков русской смуты» позволила поправить финансовое состояние, и в конце лета 1925 г. Деникины вернулись в Брюссель. Однако долго задерживаться в бельгийской столице они не собирались и весной следующего года перебрались в Париж – центр русской эмигрантской жизни.

Несмотря на свое пятилетнее «затворничество», Деникин по-прежнему оставался значимой фигурой в эмигрантской среде. И, как у любой значимой фигуры, вынужденной действовать в переломные моменты истории, у него было немало критиков. Непросто складывались отношения Деникина и его преемника на посту командующего ВСЮР Петра Врангеля, Антон Иванович серьезно расходился во взглядах с Российским общевоинским союзом (РОВС) – самой влиятельной эмигрантской организацией бывших участников Белого движения.

Гораздо спокойнее и приятнее складывались отношения Деникина с писателями, жившими в то время во Франции. Он тесно и плодотворно общался и обменивался опытом с Иваном Шмелевым, сотрудничал с Иваном Бунным и Александром Куприным, встречался с Мариной Цветаевой.

«Генерал не имел практической жилки, – говорил о Деникине Дмитрий Лехович. – В вопросах личного материального благополучия он был по-детски беспомощен. Мысль, что семья может очутиться в нищете, угнетала его. Единственным утешением (о котором, впрочем, он говорил только жене) было сознание, что, не в пример многим другим, он не скопил себе состояния, когда был у власти. Пришел он к ней с пустым карманом и таким же бедняком расстался с ней».

Что правда – то правда: Антон Иванович имел немало возможностей жить как минимум безбедно, но... В начале 1930-х гг. деньги, полученные от публикации «Очерков русской смуты» и других книг, закончились, и, чтобы поправить финансы, Антон Иванович решил читать лекции о международном положении. А оно, как известно, было непростым.

Когда в Германии к власти пришел Гитлер, многие русские эмигранты приветствовали национал-социализм как средство борьбы с большевизмом. Деникин же категорически отвергал «пораженческую» идею: любое иностранное нашествие на Россию, лишь бы свергнуть большевиков.

Начало Второй мировой войны не было неожиданностью для Деникина. Но молниеносного крушения французской армии он не ожидал. Не желая жить «под немцами», Антон Иванович вместе с родными спешно выехал в Мимизан – городок на Атлантическом побережье, недалеко от испанской границы. Однако фашисты вскоре оказались и тут.

Врожденный антигерманизм Деникина (а что еще можно ожидать от человека, воевавшего с Германией в Первую мировую и считавшего, что именно Германия во многом поспособствовала приходу к власти в России большевиков) присовокупился к ненависти, которую вызывали «нынешние» захватчики. Антон Иванович не скрывал своего к ним отношения. Русские эмигранты, «лица без гражданства», обязаны были регистрироваться в местной комендатуре – но Деникин отказался проходить эту унижительную процедуру.

Несмотря на запрет властей, каждый год 14 июля, в день взятия Бастилии, он демонстративно дефилировал по центральной площади Мимизана. А когда к нему в Мимизан приехал немецкий генерал с сопровождающими с предложением сотрудничества, ответил, что его «не заставить надеть форму армии, которая стремится поработить его Отечество, – даже если меня за это расстреляют».

Антон Иванович искренне сопереживал Красной армии – ее неудачам в начале войны и успехам, когда наступил перелом. И так же искренне, всеми фибрами души, продолжал ненавидеть большевизм и его лидера – Сталина, которого считал «кровавым диктатором». Многим такая позиция казалась странной – им Деникин отвечал, что для России «не хочет ни ига, ни ярма».

В августе 1944 г. Париж был взят союзными войсками. Однако, опять же по причине безденежья, Деникины вернулись в столицу только в конце мая следующего года. Но и здесь они пробыли недолго...

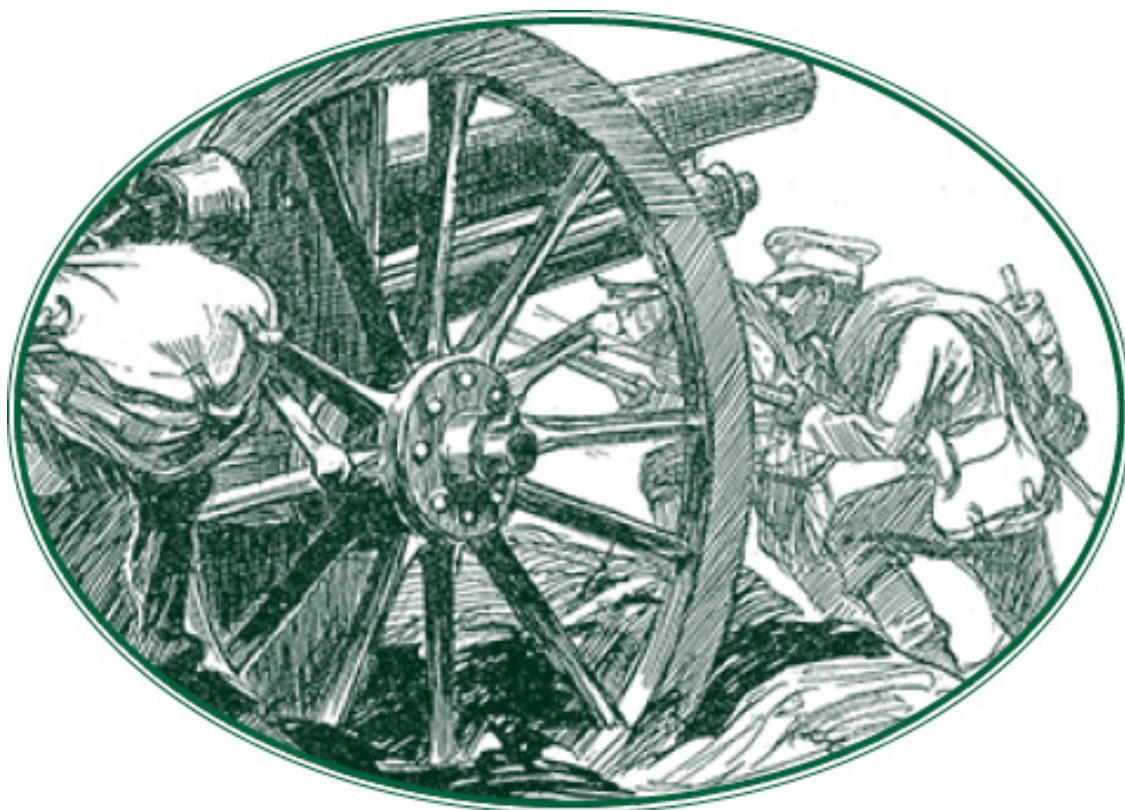
Победа СССР в войне безусловно обрадовала Антона Ивановича. Однако усиление советского влияния и прокоммунистических настроений в странах Европы – и не только Восточной, но и Западной, в том числе и Франции, – вызывало у него озабоченность и тревогу.

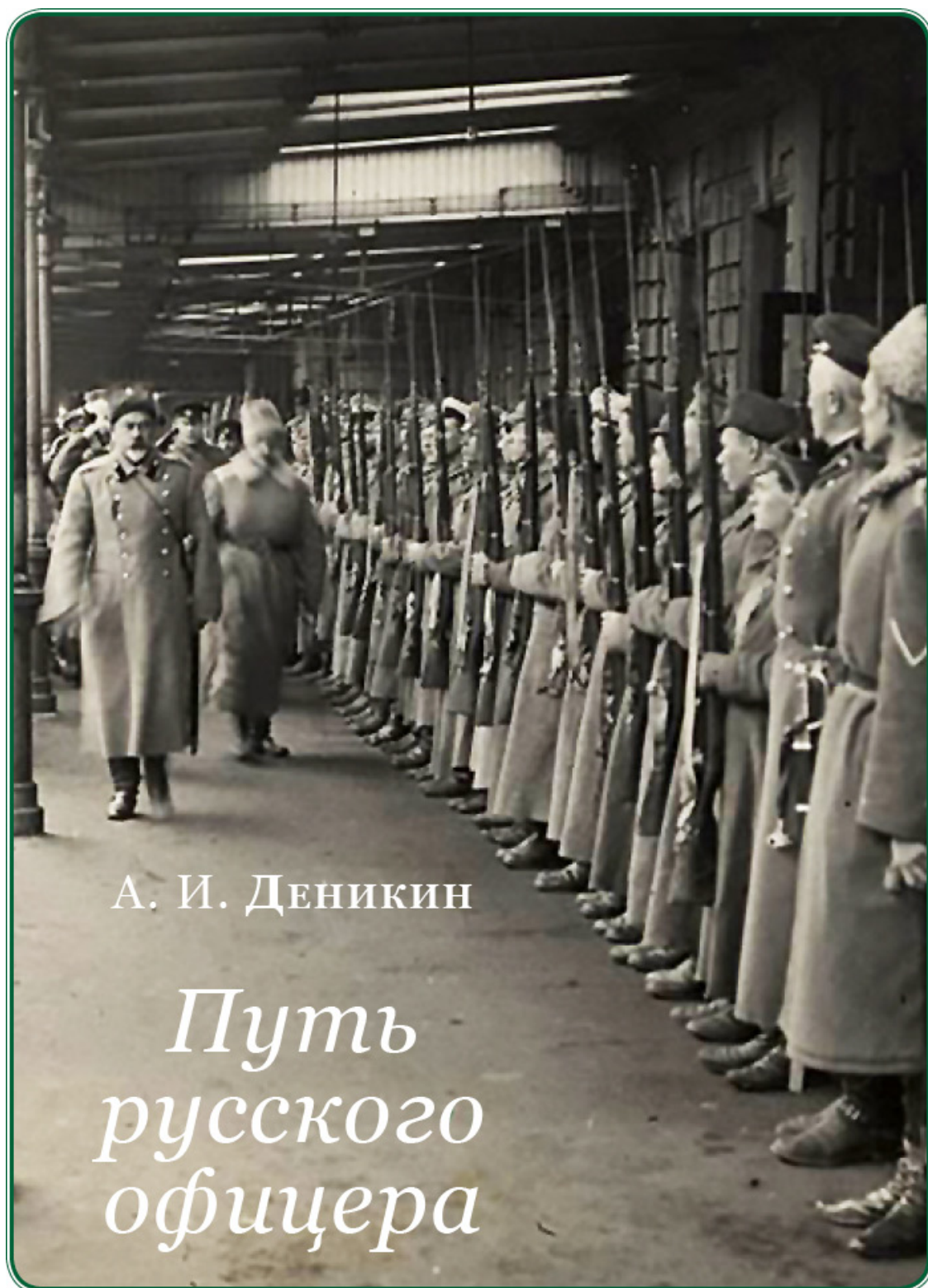
Скорее всего, здесь сработал «антикоммунистический» стереотип Деникина – о его антифашистской позиции знали в СССР и вряд ли стали бы преследовать престарелого генерала. Но стоит ли осуждать за такую стереотипность мышления человека, который всю свою жизнь был непримиримым врагом большевизма?.. Так или иначе, Антон Иванович принял решение – «от греха подальше» – переехать из Франции в США.

7 декабря 1945 г. Антон и Ксения Деникины (дочь Марина решила остаться во Франции) прибыли в Нью-Йорк. Вскоре жизнь потекла своим чередом: Антон Иванович выступал с лекциями, работал над книгами, следил за тем, что происходит в мире. Разве что все чаще стало беспокоить сердце. Чтобы избежать нью-йоркской жары, летом 1947 г. Деникины воспользовались приглашением одного из друзей и переехали на ферму в штате Мичиган.

20 июля у Антона Ивановича случился тяжелейший сердечный приступ. Его отвезли в ближайший город Энн-Арбор и поместили в больницу при Мичиганском университете. Казалось, что Деникину стало лучше, но 7 августа 1947 г., после очередного приступа, его сердце не выдержало. Последними его словами были: «Жаль, что я не увижу, как спасется Россия»...

А. Ю. Хорошевский





ПУТЬ РУССКОГО ОФИЦЕРА

«Подруге дней моих суровых» – жене, помощнице в трудах, согретый ее заботами, связанный единомыслием, оставляю рассказ о начале моего бытия.

А. Деникин. Мимизан (Франция) 16 января 1944 г.

Часть первая

Родители

Родился я 4 декабря 1872 года в городе Влоцлавске¹ Варшавской губ., вернее, в пригороде его за Вислой – в деревне Шпеталь Дольный. Занесла нас туда судьба потому, что отец мой служил в Александровской бригаде пограничной стражи, штаб которой находился во Влоцлавске; в этих местах родители мои остались жить после отставки отца.

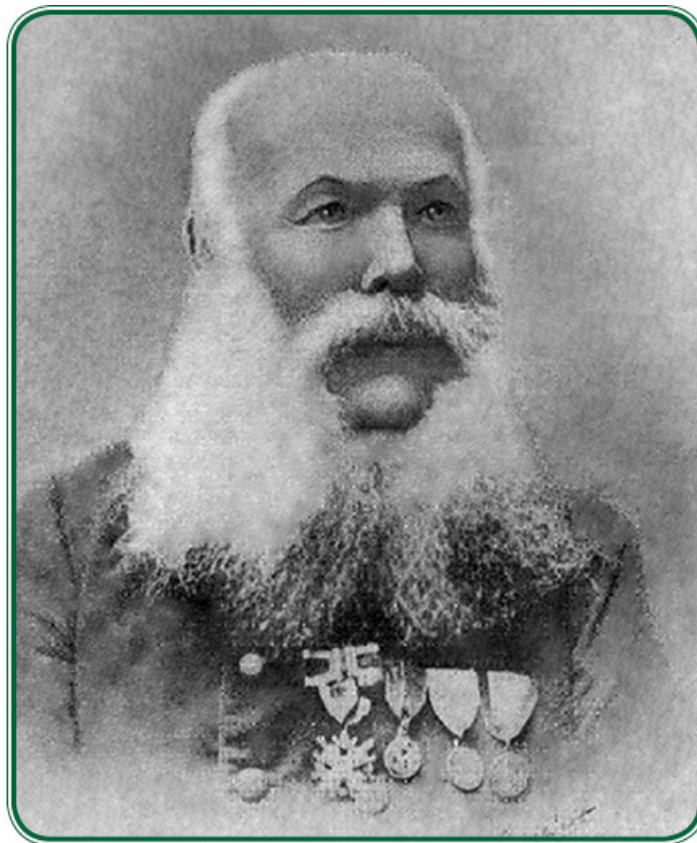
Как известно, часть Польши, со столицей Варшавой, входила тогда в состав Российской империи.

Отец, Иван Ефимович Деникин, родился за пять лет до наполеоновского нашествия на Россию (1807) в крепостной крестьянской семье, в Саратовской губернии, если память мне не изменяет, в деревне Ореховке. Умер он, когда мне было 13 лет, и прошло с тех пор до времени, когда пишутся эти строки, 60 лет... Поэтому о прошлой жизни отца – по его рассказам – у меня сохранились лишь смутные, отрывочные воспоминания.

В молодости отец крестьянствовал. А 27-ми лет от роду был сдан помещиком в рекруты. В условиях тогдашних сообщений и солдатской жизни (солдаты служили тогда 25 лет и редко кто возвращался домой), меня полки и стоянки, побывав походом и в Венгрии, и в Крыму, и в Польше, отец оторвался совершенно от родного села и семьи. Да и семья-то рано распалась: родители отца умерли еще до поступления его на военную службу, а брат и сестра разбрелись по свету.

Где они и живы ли – он не знал. Только однажды, – был еще тогда отец солдатом, – во время продвижения полка по России, судьба занесла его в тот город, где, как оказалось, жил его брат, как говорил отец – «вышедший в люди раньше меня»... Смутно помню рассказ, как отец, обрадовавшись, пошел на квартиру к брату, у которого в тот день был званый обед. И как жена брата вынесла ему прибор на кухню, «не пустив в покои»... Отец встал и ушел, не простившись. С той поры никогда с братом не встречались.

¹ Ныне город Влоцлавек в Куявско-Поморском воеводстве Польши. (Здесь и далее, если не указано особо, – примечания редакции.)



Иван Ефимович Деникин
(1805—1887)

Солдатскую службу начал отец в царствование императора Николая I. «Николаевское время» – эпоха беспросветной тяжелой солдатской жизни, суровой дисциплины, жестоких наказаний. 22 года такой службы были жизненным стажем совершенно исключительным. Особенно жуткое впечатление производил на меня рассказ отца о практиковавшемся тогда наказании – «прогнать сквозь строй». Когда солдат, вооруженных ружейными шомполами, выстраивали в две шеренги, лицом друг к другу, и между шеренгами «прогоняли» провинившегося, которому все наносили шомпольные удары... Бывало, забивали до смерти!..

Рассказывал отец про эти времена с эпическим спокойствием, без злобы и осуждения, и с обычным рефреном:

– Строго было в наше время, не то что нынче!

На военную службу отец поступил только со знанием грамоты. На службе кое-чему подучился. И после 22-летней лямки, в звании уже фельдфебеля, допущен был к «офицерскому экзамену», по тогдашнему времени – весьма несложному: чтение и письмо, четыре правила арифметики, знание военных уставов и письмоводства и Закон Божий. Экзамен отец выдержал и в 1856 году произведен был в прапорщики, с назначением на службу в Калишскую, потом в Александровскую бригаду пограничной стражи.

В 1863 году началось Польское восстание. Отряд, которым командовал отец, был расположен на прусской границе, в районе города Петрокова² (уездного). С окрестными поль-

² Ныне город Пётркув-Трыбунальский в Лодзинском воеводстве Польши.

скими помещиками отец был в добрых отношениях, часто бывали друг у друга. Задолго перед восстанием положение в крае стало весьма напряженным.

Ползли всевозможные слухи. На кордон поступило сведение, что в одном из имений, с владельцем которого отец был в дружеских отношениях, происходит секретное заседание съезда заговорщиков... Отец взял с собой взвод пограничников и расположил его в укрытии возле господского дома, с кратким приказом:

– Если через полчаса не вернусь, атаковать дом!

Зная расположение комнат, прошел прямо в зал. Увидел там много знакомых. Общее смтение... Кое-кто из не знавших отца бросились было с целью обезоружить его, но другие удержали. Отец обратился к собравшимся:

– Зачем вы тут – я знаю. Но я солдат, а не доносчик. Вот когда придется драться с вами, тогда уж не взыщите. А только затеяли вы глупое дело. Никогда вам не справиться с русской силой. Погубите только зря много народу. Одумайтесь, пока есть время.

Ушел.

Я привел лишь общий смысл этого обращения, а стилия передать не могу. Вообще отец говорил кратко, образно, по-простонародному, вставляя не раз крепкие словца. Словом, стиль был отнюдь не салонный.

В сохранившемся сухом и кратком перечне военных действий («Указ об отставке») упоминается участие отца в поражении шайки Мирославского в лесах при дер. Крживосондзе, банды Юнга – у деревни Новая Весь, шайки Рачковского – у пограничного поста Пловки, и т. д.

Почему-то про Крымскую и Венгерскую³ кампании отец мало рассказывал – должно быть, принимал в них лишь косвенное участие. Но про Польскую кампанию, за которую отец получил чин и орден, он любил рассказывать, а я с напряженным вниманием слушал. Как отец носился с отрядом своим по приграничному району, преследуя повстанческие банды... Как однажды залетел в прусский городок, чуть не вызвав дипломатических осложнений...

Как раз, когда он и солдаты отряда парились в бане, а разъезды донесли о подходе конной банды «косиньеров»⁴, пограничники – кто успев надеть рубахи, кто голым, только накинув шапки и ружья – бросились к коням и пустились в погоню за повстанцами... В ужасе шарахались в сторону случайные встречные при виде необыкновенного зрелища: бешеной скачки голых и черных (от пыли и грязи) не то людей, не то чертей... Как выкуривали из камина запрятавшегося туда мятежного ксендза...

И т. д., и т. д.

Рассказывал отец и про другое: не раз он спасал поляков-повстанцев – зеленую молодежь. Надо сказать, что отец был исполнительным служакой, человеком крутым и горячим и вместе с тем необыкновенно добрым. В плен попадало тогда много молодежи – студентов, гимназистов. Отсылка в высшие инстанции этих пленных, «пойманных с оружием в руках», грозила кому ссылкой, кому и чем-либо похуже.

Тем более что ближайшим начальником отца был некий майор Шварц – самовластный и жестокий немец. И потому отец, на свой риск и страх, при молчаливом одобрении сотни (никто не донес), приказывал, бывало, «всыпать мальчишкам по десятку розог» – больше для формы – и отпускал их на все четыре стороны.

Мне не забыть никогда эпизода, случившегося лет через пятнадцать после восстания. Мне было тогда лет шесть-семь. Отцу пришлось ехать в город Липно зимой в санях – в качестве свидетеля по какому-то судебному делу. Я упросил его взять меня с собой. На одной из промежуточных станций остановились в придорожной корчме. Сидел там за столом какой-

³ Имеется в виду подавление революции в Венгрии (1848—1849).

⁴ За недостатком оружия, многие отряды были вооружены косами. (Примеч. автора.)

то высокий плотный человек в медвежьей шубе. Он долго и пристально поглядывал в нашу сторону и вдруг бросился к отцу и стал его обнимать.

Оказалось, бывший повстанец – один из отцовских «крестников».

Как известно, Польское восстание началось 10 января 1863 года и окончилось в декабре полным поражением. Следствием его были конфискация имущества, многочисленные ссылки в Сибирь на поселение и вообще введение в крае более сурового режима.

В 1869 году отец вышел в отставку, с чином майора. А через два года женился вторым браком на Елисавете Федоровне Вржесинской (моя мать). Об умершей первой жене отца в нашей семье почти не говорилось; кажется, брак был неудачный.

Мать моя – полька, происхождением из города Стрельно⁵, прусской оккупации, из семьи обедневших мелких землевладельцев. Судьба занесла ее в пограничный городок Петроков, где она добывала для себя и для старика, своего отца, средства к жизни шитьем. Там и познакомилась с отцом.

Когда происходила Русско-турецкая война 1877—1878 гг., отцу шел уже 70-й год. Он, заметно для окружающих, заскучал. Становился все более молчаливым, угрюмым и прямо не находил себе места. Наконец, втайне от жены, подал прошение о поступлении вновь на действительную службу... Об этом мы узнали, когда много времени спустя начальник гарнизона прислал бумагу: майору Деникину отправиться в крепость Новогеоргиевск для формирования запасного батальона, с которым ему надлежало отправиться на театр войны.

Слезы и упреки матери:

– Как ты мог, Ефимыч, не сказав ни слова... Боже мой, ну куда тебе, старику...

Плакал и я. Однако в глубине душонки гордился тем, что «папа мой идет на войну».

Но через некоторое время пришло известие: война кончалась, и формирования прекратились.



Детство

Детство мое прошло под знаком большой нужды. Отец получал пенсию в размере 36 рублей в месяц. На эти средства должны были существовать первые семь лет пятеро нас, а после смерти деда – четверо. Нужда загнала нас в деревню, где жить было дешевле и разместиться можно было свободнее. Но к шести годам мне нужно было начинать школьное ученье, и мы переехали во Влоцлавск.

Помню нашу убогую квартирку во дворе на Пекарской улице: две комнаты, темный чуланчик и кухня. Одна комната считалась «парадной» – для приема гостей; она же – столовая, рабочая и проч.; в другой, темной комнате – спальня для нас троих; в чуланчике спал дед, а на кухне – нянька.

Поступив к нам вначале в качестве платной прислуги, нянька моя Аполлония, в просторечье Полося, постепенно вращалась в нашу семью, сосредоточила на нас все интересы своей одинокой жизни, свою любовь и преданность, и до смерти своей с нами не расставалась. Я похоронил ее в Житомире, где командовал полком.

Пенсии, конечно, не хватало. Каждый месяц, перед получкой, отцу приходилось «подзаять» у знакомых 5—10 рублей. Ему давали охотно, но для него эти займы были мукой;

⁵ Ныне город Стшельно в Куявско-Поморском воеводстве Польши.

бывало, дня два собирается, пока пойдет... 1-го числа долг неизменно уплачивался, с тем чтобы к концу месяца «начинать сказку» сначала...

Раз в год, но не каждый, спадала на нас манна небесная, в виде пособия – не более 100 или 150 руб. – из прежнего места службы (Корпус пограничной стражи находился в подчинении министра финансов). Тогда у нас бывал настоящий праздник: возвращались долги, покупались кое-какие запасы, «перефасонивался» костюм матери, шились обновки мне, покупалось дешевенькое пальто отцу – увы, штатское, что его чрезвычайно тяготило.

Но военная форма скоро изнашивалась, а новое обмундирование стоило слишком дорого. Только с военной фуражкой отец никогда не расставался. Да в сундуке лежали еще последний мундир и военные штаны; одевались они лишь в дни великих праздников и особых торжеств и бережно хранились, пересыпанные от моли нюхательным табаком. «На предмет непостыдных кончины, – как говаривал отец, – чтоб хоть в землю лечь солдатом»...

Помещались мы так тесно, что я поневоле был в курсе всех семейных дел. Жили мои родители дружно; мать заботилась об отце моем так же, как и обо мне, работала без устали, напрягая глаза за мелким вышиванием, которое приносило какие-то ничтожные гроши. Вдобавок она страдала периодически тяжелой формой мигрени, с конвульсиями, которая прошла бесследно лишь к старости.

Случались, конечно, между ними ссоры и размолвки. Преимущественно по двум поводам. В день получения пенсии отец ухитрялся раздавать кое-какие гроши еще более нуждающимся – в долг, но, обыкновенно, без отдачи... Это выводило из терпения мать, оберегавшую свое убогое гнездо. Сыпались упреки:

– Что же это такое, Ефимыч, ведь нам самим есть нечего...

Или еще – солдатская прямота, с которой отец подходил к людям и делам. Возмутится человеческой неправдой и наговорит знакомым такого, что те на время перестают кланяться. Мать – в гневе:

– Ну кому нужна твоя правда? Ведь с людьми приходится жить. Зачем нам наживать врагов?..

Врагов, впрочем, не наживали. Отца любили и мирились с его нравом.



Елизавета Федоровна (Францисковна)
Вржесинская (Деникина)
(1843—1916)

В семейных распрях активной стороной всегда бывала мать. Отец только защищался... молчанием. Молчит до тех пор, пока мать не успокоится и разговор не примет нейтральный характер.

Однажды мать бросила упрек:

– В этом месяце и до половины не дотянем, а твой табак сколько стоит...

В тот же день отец бросил курить. Посерел как-то, осунулся, потерял аппетит и окончательно замолк. К концу недели вид его был настолько жалкий, что мы оба – мать и я – стали просить его со слезами начать снова курить. День упирался, на другой закурил. Все вошло в норму.

Это был единственный случай, когда я вмешался в семейную размолвку. Вообще же никогда я делать этого не смел. Но в глубине детской душонки почти всегда был на стороне отца.

Мать часто жаловалась на свою, на нашу судьбу. Отец – никогда. Поэтому, вероятно, и я воспринимал наше бедное житье как нечто провиденциальное, без всякой горечи и злобы, и не тяготился им. Правда, было иной раз несколько обидно, что мундирчик, выкроенный из старого отцовского сюртука, не слишком наряден... Что карандаши у меня плохие, ломкие, а не «фаберовские», как у других... Что готовальня с чертежными инструментами, купленная на толкучке, не полна и неисправна...

Что нет коньков – обзавелся ими только в 4-м классе, после первого гонорара в качестве репетитора... Что прекрасно пахнувшие, дымящиеся «сердельки» (колбаски), стоявшие в училищном коридоре на буфетной стойке во время полуденного перерыва, были недоступны... Что летом нельзя было каждый день купаться в Висле, ибо вход в купальню стоил целых три копейки, а на открытый берег реки родители не пускали... И мало ли еще что.

Но с купаньем был выход простой: уходил тайно с толпой ребяташек на берег Вислы и полоскался там целыми часами; одним из лучших пловцов стал. Прочее же – ерунда. Выйду в офицеры – будет и мундир шикарный, появятся не только коньки, но и верховая лошадь, а «сердельки» буду есть каждый день...

Но вот душонка моя возмутилась не на шутку, ощутив подсознательно социальную неправду, – это когда, благодаря скверной готовальне (только потому, так как чертежник я был хороший), учитель математики поставил мне в четверть неудовлетворительный балл и я скатился вниз по ученическому списку.

И еще один раз... Мальчишкой лет шести-семи, в затрапезном платишке, босиком, я играл с ребяташками на улице, возле дома. Подошел мой приятель, великовозрастный гимназист 7-го класса, Капустянский, и, по обыкновению, давай меня подбрасывать, проверять, что доставляло мне большое удовольствие. По улице в это время проходил инспектор местного реального училища. Брезгливо скривив губы, он обратился к Капустянскому:

– Как вам не стыдно возиться с уличными мальчишками!

Я свету Божьего не взвидел от горькой обиды. Побежал домой, со слезами рассказал отцу. Отец вспылил, схватил шапку и вышел из дому.

– Ах он, сукин сын! Гувернантки, видите ли, нет у нас. Я ему покажу!

Пошел к инспектору и разделал его такими крепкими словами, что тот не знал – куда деваться, как извиниться.



Русско-польские отношения

Больные русско-польские отношения, вторгавшиеся в нашу жизнь извне, внутри ее не вызывали решительно никаких недоразумений. Отец был кровный русак, мать оставалась полькой, меня воспитывали в русскости и в православии. Собственно, «воспитывали» – в данном случае понятие относительное. В нем предполагается какая-то система, направление.

Ничего подобного не было. Я рос – по тесноте нашей – среди больших, много слышал, много видел, что нужно и ненужно было, воспринимал и перемалывал в своем сознании самолично, редко обращаясь к старшим за разъяснением по вопросам из области духовной.

Ни отец, ни мать не отличались лингвистическими способностями. К сожалению, это свойство унаследовал и я. Отец, прослужив в Польше 43 года, относясь к полякам и к языку их без всякого предубеждения, все понимал, но не говорил вовсе по-польски. Мать впоследствии старалась изучить русский язык, много читала русских авторов, но до конца своей жизни говорила по-русски плохо.

И так, в доме у нас отец говорил всегда по-русски, мать – по-польски, я же – не по чьему-либо внушению, а по собственной интуиции – с отцом – по-русски, с матерью – по-польски. Впоследствии, после выпуска моего в офицеры, когда матери пришлось возвращаться почти исключительно в русской среде, чтобы облегчить ей усвоение русского языка, я и к ней обращался только по-русски. Но польского языка не забыл.

Не было никаких недоразумений и в отношении религиозном. Отец был человеком глубоко верующим, не пропускал церковных служб и меня водил в церковь. С девяти лет я стал совсем церковником. С большой охотой прислуживал в алтаре, бил в колокол, пел на клиросе, а впоследствии читал Шестопсалмие и Апостола.

Иногда ходил с матерью в костел на майские службы – но по собственному желанию. Но если в убогой полковой церковке нашей я чувствовал все свое, родное, близкое, то торжественное богослужение в импозантном костеле воспринимал только как интересное зрелище.

Иногда польско-русская распря доносилась извне...

В нашем городке под Пасху, в Страстную субботу, ксендзы и полковой священник обходили дома для освящения пасхальных столов. К нам приглашались и ксендз, и русский священник отец Елисей. Последний знал про этот наш обычай и относился к нему благодушно. Но ксендзы иной раз приходили, иной раз отказывались. Помню, какую горечь такой отказ вызывал у матери и какой гнев – у отца. Впрочем, один из ксендзов объяснил, что принципиальных препятствий он не имеет, но боится репрессий со стороны русской власти...

Однажды – мне было тогда лет девять – мать вернулась из костела чрезвычайно расстроенная, с заплаканными глазами. Отец долго допытывался – в чем дело, мать не хотела говорить. Наконец, сказала: ксендз на исповеди не дал ей разрешения грехов и не допустил к причастию, потребовав, чтобы впредь она воспитывала тайно своего сына в католичестве и в польскости...

Мать разрыдалась, отец вспылил и крепко выругался. Пошел к ксендзу. Произошло бурное объяснение, причем под конец перепуганный ксендз упрашивал отца «не губить его»... Власть в Привислянском крае была в то время (1880-е годы) крутая, и «попытка к соращению» могла повлечь ссылку в Сибирь на поселение. Конечно, никакой огласки дело не получило.

Не знаю, как проходили дальнейшие исповеди матери, ибо никогда более родители мои к этой теме не возвращались.

На меня эпизод этот произвел глубокое впечатление. С этого дня я, по какому-то внутреннему побуждению, больше в костел не ходил.

Надо признаться, что обострению русско-польских отношений много способствовала нелепая, тяжелая и обидная для поляков русификация, проводившаяся Петербургом, в особенности в школьной области. Во Влоцлавском реальном училище, где я учился (1882—1889), дело обстояло так: Закон Божий католический ксендз обязан был преподавать полякам на русском языке; польский язык считался предметом необязательным, экзамена по нему не производилось, и преподавался он также на русском языке. А учителем был немец Кинель, и по-русски-то говоривший с большим акцентом.

В стенах училища, в училищной ограде и даже на ученических квартирах строжайше запрещалось говорить по-польски, и виновные в этом подвергались наказаниям. Петербург перетягивал струны. И даже бывший варшавский генерал-губернатор Гурко, герой русско-турецкой войны, пользовавшийся в глазах поляков репутацией «гонителя польскости», не раз в своих всеподданнейших докладах государю, с которыми я познакомился впоследствии, указывал на ненормальность некоторых мероприятий обрусительного характера⁶.

⁶ В 1905 году вышел указ: преподавание польского языка и Закона Божия должно производиться на польском языке; во внеурочное время разрешено пользоваться «природным языком». (Примеч. автора.)



Подписанный 18 марта 1921 г. в Риге договор между РСФСР и СССР (также и от имени БССР, однако на самом деле белорусское руководство не было проинформировано о ведении переговоров), с одной стороны, и Польшей — с другой, подвел черту под советско-польской войной 1919—1921 гг.

Согласно договору, к Польше отходили значительные территории Западной Украины и Западной Белоруссии, на которых преобладало непольское население. Польское руководство обязывалось не ущемлять интересы русских, украинцев и белорусов, проживавших на этих территориях, однако на деле эти договоренности не соблюдались.



Нужно ли говорить, что все эти строжайшие запреты оставались мертвой буквой. Ксендз на уроках бросал для виду только несколько русских фраз, ученики никогда не говорили между собой по-русски, и только аккуратный немец Кинель тщетно пытался русскими словами передать красоты польского языка.

Я должен, однако, сказать, что эти перлы русификации бледнеют совершенно, если перелистать несколько страниц истории, перед жестоким и диким прессом колонизации, придавившим впоследствии русские земли, отошедшие к Польше по Рижскому договору (1921). Поляки начали искоренять в них всякие признаки русской культуры и гражданственности, упразднили вовсе русскую школу и особенно ополчились на Русскую Церковь. Польский язык стал официальным в ее делопроизводстве, в преподавании Закона Божия, в церковных проповедях и местах — в богослужении.

Мало того, началось закрытие и разрушение православных храмов: Варшавский собор — художественный образец русского зодчества — был взорван; в течение одного месяца в 1937 году было разрушено правительственными агентами 114 православных церквей — с кощунственным поруганием святынь, с насилиями и арестами священников и верных прихожан. Сам примас Польши в день Святой Пасхи в архипастырском послании призывал католиков в борьбе с православием «идти следами фанатических безумцев апостольских»...

Отплатили нам поляки, можно сказать, с лихвою! И впереди никакого просвета в русско-польской распри не видать.

Вернемся, однако, к нашему далекому прошлому.

Застав в училище такое положение, я, десятилетний мальчишка, по собственной интуиции нашел *modus vivendi*⁷: с поляками стал говорить по-польски, с русскими товарищами, которых было в каждом классе по три, по четыре, — всегда по-русски. Так как многие из них действительно ополячились, я не раз подтрунивал над ними, поругивал их, а иногда в серьезных случаях и поколачивал, когда позволяло «соотношение сил». Помню, какое нравственное удовлетворение доставило мне однажды (в 6-м классе), когда мой приятель — серьезный юноша и добрый поляк, — после одной такой сценки, пожал мне руку и сказал:

⁷ Латинская фраза (от *modus* — способ и *vivendi* — жить), означающая согласие сторон сосуществовать с разными взглядами на определенный объект несогласия.

– Я тебя уважаю за то, что ты со своими говоришь по-русски.

Кроме поляков и русских, в каждом классе училища были и евреи – не более двух-трех. Хотя почти половина населения города состояла из евреев, которые держали в своих руках всю торговлю, и много среди них было людей состоятельных, но лишь очень немногие отдавали тогда своих детей в училище.

Остальные ограничивались хедером – специально еврейской, отсталой, талмудистской, средневекового типа школой, которая допускалась властью, но не давала никаких прав по образованию. В нашем реальном училище «еврейского вопроса» не существовало вовсе: сверху евреи не испытывали никаких ограничений, а в ученической среде расценивались только по своим моральным, вернее, товарищеским качествам.

В 7-м классе я учился уже вне дома, в Ловичском реальном училище, о чем речь впереди. Был «старшим» на ученической квартире (12 человек). Должность «старшего» представляла скидку – половину платы за содержание, что было весьма приятно; состояла в надзоре за внутренним порядком, что было естественно; но требовала заполнения месячной отчетности, в одной из граф которой значилось: «уличенные в разговоре на польском языке».

Это было совсем тягостно, ибо являлось попросту доносом. Рискую быть смещенным с должности, что на нашем бюджете отразилось бы весьма печально, я всякий раз вносил в графу: «таких случаев не было».

Месяца через три вызывают меня к директору. Директор Левшин знал меня еще по Влоцлавскому училищу, откуда он был переведен в Лович, и любил. За что – не знаю. Должно быть, за то, что я порядочно учился и хорошо пел в ученическом церковном хоре – его детище.

– Вы уже третий раз пишете в отчетности, что уличенных в разговоре на польском языке не было...

– Да, господин директор.

– Я знаю, что это неправда.

Молчу.

– Вы не хотите понять, что этой меры требуют русские государственные интересы: мы должны замирить и обрусить этот край. Ну что же, подрастете и когда-нибудь поймете. Можете идти.

Был ли директор твердо уверен в своей правоте и в целесообразности такого метода «замирения» – не знаю. Но до конца учебного года в моем отчете появлялась сакраментальная фраза – «таких случаев не было», а с должности меня не сместили.

Так или иначе, в течение восьми лет, проведенных среди поляков в реальном училище, я никогда не испытывал трений на национальной почве. Не раз, когда во время общих наших загородных прогулок кто-либо из товарищей затягивал песни, считавшиеся революционными, – «3 дымэм пожарув» или «Боже, цось Польске...», другие останавливали его:

– Брось, нехорошо, ведь с нами идут русские!..

Трения пришли позже... Впоследствии я вышел в офицеры, большинство из моих школьных товарищей-поляков окончили высшие технические заведения. Положение изменилось. Запретов не стало, были мы уже свободными людьми, и я потребовал «равноправия»; при встречах с бывшими товарищами заговорил с ними по-русски, предоставляя им говорить на их родном языке.

Одни примирились с этим, другие обиделись, и мы расстались навсегда. Впрочем, встречи происходили лишь в первые годы после выпусков. В дальнейшем судьба разбросала нас по свету, и я никогда больше не встречал своих школьных товарищей.

Один только случай: в 1937 году отозвался самый близкий мой школьный товарищ, с которым мы жили в одной комнате, крепко дружили, вместе учились и совместно разрешали тогда все «мировые вопросы». Это был Станислав Карпинский, первый директор Государ-

ственного банка новой Польши, кратковременно занимавший пост министра финансов. К этому времени Карпинский был уже в отставке. Прочтя мои книги и узнав через одно из издательств мой адрес, он прислал мне книжку воспоминаний, и между нами завязалась переписка, длившаяся до самой Второй мировой войны. Что случилось с ним, не знаю.

Карпинский, уроженец русской Польши,— один из редких поляков, здраво, без предвзятости смотревший на русско-польские отношения, ясно видевший не только русские, но и польские прегрешения и считавший возможным и необходимым примирение.



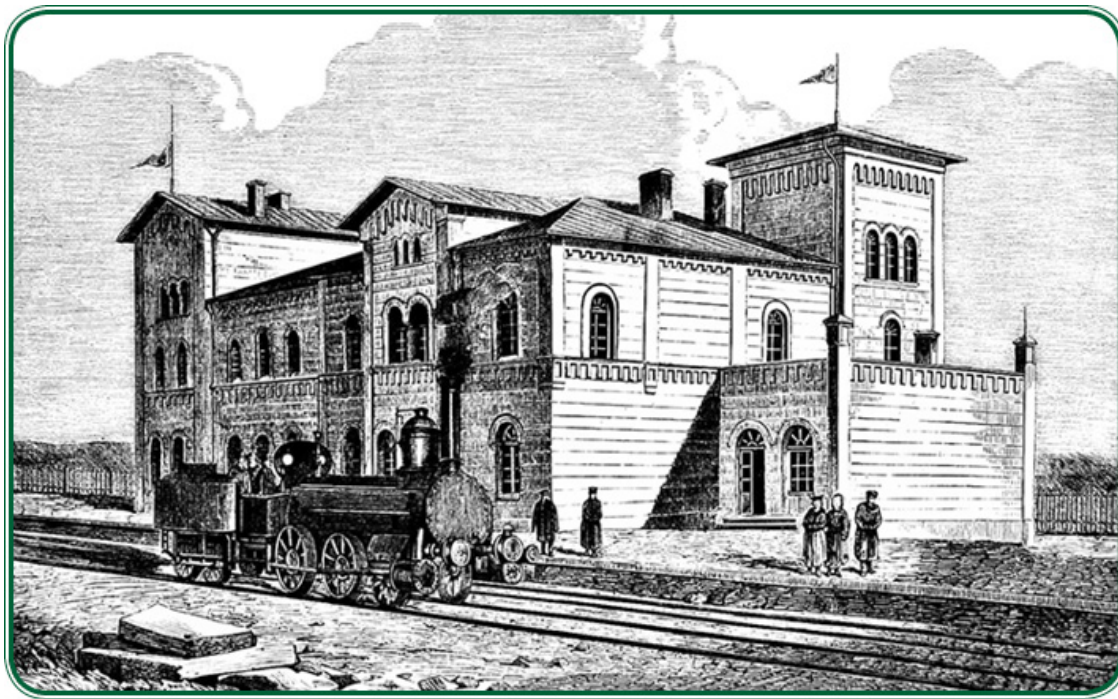
Жизнь городка

Городишко наш жил тихо и мирно. Никакой общественной жизни, никаких культурных начинаний, даже городской библиотеки не было, а газеты выписывали лишь очень немногие, к которым, в случае надобности, обращались за справками соседи. Никаких развлечений, кроме театра, в котором изредка подвизалась заезжая труппа. За десять лет моей более сознательной жизни в Влоцлавске я могу перечислить ВСЕ⁸ «важнейшие события», взволновавшие тихую заводь нашего захолустья.

Итак.

«Поймали социалиста»... Под это общее определение влоцлавские жители подводили всех представителей того неведомого и опасного мира, которые за что-то боролись с правительством и попадали в Сибирь, но о котором очень немногие имели ясное представление. В течение нескольких дней «социалиста», в сопровождении двух жандармов, водили на допрос к жандармскому подполковнику. Каждый раз толпа мальчишек сопровождала шествие. И так как подобный случай произошел у нас впервые, то вызвал большой интерес и много пересудов среди обывателей.

⁸ Так у автора.



*Железнодорожный вокзал Влоцлавка.
Гравюра. XIX в.*

В доме богатого купца провалился потолок и сильно придавил его. Много народа, знакомые и незнакомые, ходили навещать больного – не столько из участия, сколько из-за любопытства: посмотреть провалившийся потолок. Конечно, побывал и я.

Директор отделения местного банка, захватив суммы, бежал за границу... Несколько дней подряд возле банковского дома собирались, жестикулировали и ругались люди – вероятно, мелкие вкладчики. И на Пекарской улице, где находился банк, царило большое оживление. Кажется, не было в городе человека, который не прошелся бы в эти дни по Пекарской мимо дома с запертыми дверями и наложенными на них казенными печатями.

В нашем реальном училище случилось событие посерьезнее. 7-го класса, или «дополнительного», как он назывался на официальном языке, к моему выпуску уже не было, и вот почему... Раньше училище было нормальным семиклассным. По установившейся почему-то традиции, семиклассники у нас пользовались особыми привилегиями: ходили вне школы в штатском платье, посещали рестораны, где выпивали, гуляли по городу после установленного вечернего срока, с учителями усвоили дерзкое обращение и т. д.

В конце концов, распущенность дошла до такого предела, что директор решил положить ей конец. После какого-то объяснения с великовозрастным семиклассником, последний ударил директора по лицу.

Это событие взволновало, взбудоражило весь город и, конечно, школу. Семиклассник был исключен «с волчьим билетом», т. е. без права приема в какое бы то ни было учебное заведение. Помню, что поступок его вызвал всеобщее осуждение, тем более что директор, которого перевели куда-то в Центральную Россию, был человеком гуманным и справедливым. Осуждали и мы, мальчишки.

Седьмой класс был закрыт, как сказано было в официальной бумаге, «навсегда».

Наконец, еще событие, коснувшееся стороной и меня. Было мне тогда семь или восемь лет. В городе стало известно, что из-за границы возвращается император Александр II

через Александров-Пограничный⁹ и что царский поезд остановится во Влоцлавске на десять минут. Для встречи государя, кроме начальства, допущены были несколько жителей города, в том числе и мой отец. Отец решил взять меня с собой. Воспитанный в духе мистического отношения к личности царя, я был вне себя от радости.

В доме – переполох. Мать весь день и ночь шила мне плисовые штаны и шелковую рубашку; отец приводил в порядок военный костюм и натирал до блеска – через особую дощечку с вырезами – пуговицы мундира.

На вокзале я заметил, что, кроме меня, других детей нет, и это наполнило меня еще большей гордостью.

Когда подъехал царский поезд, государь подошел к открытому окну вагона и приветливо беседовал с кем-то из встречающих. Отец застыл с поднятой к козырьку рукой, не обращая на меня внимания. Я не отрывал глаз от государя.

После отхода поезда один наш знакомый полусушутя обратился к отцу:

– Что это, Иван Ефимович, сынишка ваш непочтителен к государю. Так шапки и не снимал...

Отец смутился и покраснел. А я словно с неба на землю и свалился. Почувствовал себя таким несчастным, как никогда. Теперь уже и перед мальчишками нельзя будет похвастаться встречей царя: узнают про мою оплошность – засмеют...

Прошло некоторое время, и вся Россия была потрясена событием: 1 марта 1881 года убит был император Александр II...

В нашем городке – в переполненной молящимися православной церкви, в русских семьях, в нашем доме – люди плакали. Как отнеслось к событию польское население, я тогда оценить не мог. Помню только, что в течение нескольких дней город был погружен в жуткую тишину и пустоту. По распоряжению растерявшегося местного начальства, в полуопустевшем городе ездили конные уланские патрули, и лязг конских копыт, в особенности ночью, усиливал тревожное настроение, которое можно передать словами польского поэта:

Тихо вшендзе, глухо вшендзе.
Цо то бэндзе, цо то бэндзе...¹⁰



Школа

Учить меня стали рано. Когда мне исполнилось четыре года, к именинам отца мать подготовила ему подарок: втихомолку выучила меня русской грамоте. Я был торжественно подведен к отцу, развернул книжку и стал ему читать.

– Врешь, брат, ты это наизусть. А ну-ка прочти вот здесь.

Прочел. Радость была большая. Словно два именинника в доме.

Когда переехали из деревни в город, отдали меня в «немецкую» городскую школу. В немецкую потому, что помещалась она насупротив нашего дома, а до нормальной было далеко. Впрочем, немецкой называлась она только ввиду того, что сверх обыкновенной про-

⁹ Ныне город Александрув-Куявский в Куявско-Поморском воеводстве Польши.

¹⁰ Тихо всюду, глухо всюду, Что-то будут, что-то будет... (Примеч. автора.) Стихотворение Адама Мицкевича.

граммы там преподавался немецкий язык. Между прочим, начальной школы с польским языком не было...

Помянуть нечем. Вот только разве «чудо» одно... Оставил меня раз учитель за какую-то провинность после уроков на час в классе. Очень неприятно: дома будут пилить полчаса, что гораздо хуже всякого наказания. Стал я перед училищной иконой на колени и давай молиться Богу:

– Боженька, дай, чтобы меня отпустили домой!..

Только что я встал, открывается дверь, входит учитель и говорит:

– Деникин Антон, можешь идти домой.

Я был потрясен тогда. Этот эпизод укрепил мое детское верование. Но, да простится мой скепсис, теперь я думаю, что учитель случайно подглядел в окно (одноэтажное здание), увидел картину кающегося грешника и оттого смиловался. Ибо не раз потом, когда я вновь попадал в греховность и мне грозило дома наказание, я молил Бога:

– Господи, дай, чтобы меня лучше посекли – только не очень больно, – но не пилили!

Однако почти никогда моя молитва не была услышана: не секли, а пилили.

Два следующих года я учился в начальной школе, а в 1882 году, в возрасте 9 лет и 8 месяцев, выдержал экзамен в 1-й класс Влоцлавского реального училища.

Дома – большая радость. Я чувствовал себя героем дня. Надел форменную фуражку с таким приблизительно чувством, как впоследствии первые офицерские погоны. Был поведен родителями в первый раз в жизни в кондитерскую и угощен шоколадом и пирожными.

Учился я первое время отлично. Но, будучи во втором классе, заболел оспой, потом скарлатиной со всякими осложнениями. Лежал в жару и в бреду. Лечивший меня старичок, бригадный врач, зашел раз, посмотрел, перекрестил меня и, ни слова не сказав родителям, вышел. Родители – в отчаянии. Бросились к городскому врачу. Тот вскоре поднял меня на ноги.

Несколько месяцев учения было пропущено, от товарищей отстал. Особенно по математике, которая считалась главным предметом в реальном училище. С грехом пополам перевалил через 3-й и 4-й классы, а в 5-м застрял окончательно: в среднем за год получил по каждому из трех основных математических предметов по 2½ (по пятибалльной системе). Обыкновенно педагогический совет прибавлял в таких случаях половинку, директор Левшин настаивал на прибавке, но учитель математики Епифанов категорически воспротивился:

– Для его же пользы.

Я не был допущен к переводному экзамену и оставлен в 5-м классе на второй год.

Большой удар по моему самолюбию. Не знал, куда деваться от стыда. Мать, видя мои мучения, сочинила для знакомых басню о том, что я оставлен в классе «по молодости лет». Знакомые сочувственно кивали головой, но, конечно, никто не верил.

То лето я провел в качестве репетитора в деревне. Работы с моими учениками было немного, и все свободное время я посвятил изучению математики. Имел терпение проштудировать три учебника (алгебры, геометрии и тригонометрии) от доски до доски и даже перерешил почти все помещенные в них задачи. Труд колоссальный.

Вначале дело шло туговато, но мало-помалу «математическое сознание» прояснялось, я начинал входить во вкус дела; удачное решение какой-нибудь трудной задачи доставляло мне истинную радость. Словом, к концу лета я с юношеским задором сказал себе:

– Ну, Епифаша, теперь поборемся!

Учитель Епифанов был влюблен в свою математику и всех не знающих ее считал дураками. В классе он находил всегда двух-трех учеников, особенно способных к математике, с ними он занимался особо, становясь совсем на товарищескую ногу. Класс дал им прозвание «пифагоров».

«Пифагоры» были на привилегированном положении: получали круглую пятерку в четверть, никогда не вызывались к доске и иногда только, когда Епифанов чувствовал, что класс плохо понимает его объяснения, приглашал кого-нибудь из «пифагоров» повторить. Выходило иногда понятнее, чем у него... Во время заданной классной задачи «пифагоры» усаживались отдельно, и Епифанов предлагал им задачу много труднее или делился с ними новинками из последнего «Математического журнала».

Класс относился к «пифагорам» с признанием и не раз пользовался их помощью.

Первая классная задача после каникул – совершенно пустяковая... Решаю в 10 минут и подаю. Прислушиваюсь, что говорится за «пифагоровской» скамьей:

– В прошлом номере «Математического журнала» предложена была задача: «Определить среднее арифметическое всех хорд круга». А в последнем номере значит, что решения не прислано. Не хотите ли попробовать...

«Пифагоры» взялись за решение, но не осилили. Я тоже заинтересовался задачей. Мысль заработала... Неужели?! Красный от волнения, слегка дрожавшими руками я подал лист Епифанову.

– Кажется, я решил...¹¹

Епифанов прочел, ни слова не сказав, прошел к кафедре, развернул журнал и поставил так ясно, что весь класс заметил, пятерку.

С этого дня я стал «пифагором» со всеми вытекавшими из сего последствиями – почета и привилегий.

Я остановился на этом маловажном, со стороны глядя, эпизоде, потому что он имел большое значение в моей жизни, после трех лет лавирования между «двойкой» и «четверкой», после постоянных укоров родителей, вынужденных и вымученных объяснений и укоров самолюбия дома и в школе – в моем характере проявилась какая-то неуверенность в себе, приниженность, какое-то чувство своей «второсортности»... С этого же памятного дня я вырос в собственных глазах, почувствовал веру в себя, в свои силы и тверже и увереннее зашагал по ухабам нашей маленькой жизни.

В 5-м классе, благодаря высоким баллам по математике, я занял третье место, а в 6-м весь год шел первым.

После окончания шести классов во Влоцлавске мне предстояло перейти в одно из ближайших реальных училищ – Варшавское с «общим отделением дополнительного класса», или в Ловичское – с «механико-техническим отделением». Я избрал последнее. Репутация «пифагора», занесенная перемещенным туда директором Левшиным, помогла мне с первых же дней занять в новом «чужом» училище надлежащее место, и я окончил его с семью пятерками по математическим предметам.

Прочие науки проходил довольно хорошо, а иностранные языки неважно. По русскому языку, конечно, стоял выше других. И если в аттестате, выданном Влоцлавским училищем, значит, только четверка, то потому, что инспектор Мазюкевич никому пятерки не ставил. А может быть, причина была другая... Как-то раз, еще в четвертом классе, Мазюкевич задал нам классное сочинение на слова поэта:

Куда как упорен в труде человек,
Чего он не сможет, лишь было б терпенье,
Да разум, да воля, да Божье хотенье.

– Под последней фразой, – объяснил нам инспектор, – поэт разумел удачу.

¹¹ Ответ: среднее арифметическое всех хорд круга = $\pi r/2$. (Примеч. автора.)

А я свое сочинение закончил словами: «...И конечно, Божье хотенье. Не „удача“, как судят иные, а именно „Божье хотенье“. Недаром мудрая русская пословица учит: „Без Бога – ни до порога“»...

За такую мою продерзость «иные» поставили мне тогда тройку, и с тех пор до самого выпуска, несмотря на все старание, выше четверки я не подымался.

С 4-го класса начались мои «литературные упражнения»: наловчился писать для товарищей-поляков домашние сочинения пачками – по три-четыре на одну и ту же тему и к одному сроку. Очень трудное дело. Писал я, по-видимому, неплохо. По крайней мере, Мазюкович обратился раз к товарищу моему, воспользовавшемуся моей работой, со словами:

– Сознайтесь – это не вы писали. Должно быть, заказали сочинение знакомому варшавскому студенту...

Такое заявление было весьма лестно для «анонимного» автора и подымало мой школьный престиж.

Работал я даром, иногда, впрочем, «в товарообмен»: за право пользоваться хорошей готовальной или за одолженную на время электрическую машинку – предел моих мечтаний.

В 13—14 лет писал стихи – чрезвычайно пессимистического характера, вроде:

Зачем мне жить дано
Без крова, без привета.
Нет, лучше умереть —
Ведь песня моя спета.



Виды Влоцлавека. Фотографии. Начало XX в.



Посылал стихи в журнал «Ниву» и лихорадочно томился в ожидании ответа. Так, злодеи, и не ответили. Но в 15 лет одумался: не только писать, но и читать стихи бросил – «ерунда!» Прелесть Пушкина, Лермонтова и других поэтов оценил позднее. А тогда, сразу же после Густава Эмара и Жюль Верна, преждевременно перешел на «Анну Каренину» Льва Толстого – литература, бывшая строго запретной в нашем возрасте.

В 16—17 лет (6—7-й классы) наша компания была уже достаточно «сознательной». Читали и обсуждали вкривь и вкось, без последовательности и руководства, социальные про-

блемы; разбирали по-своему литературные произведения, интересовались четвертым измерением и новейшими изобретениями техники. Только политическими вопросами занимались мало. Быть может, потому, что в умах и душах моих товарищей-поляков доминировала и все подавляла одна идея – «Еще Польша не сгинела»... А со мной на подобные темы разговаривать было неудобно.

Но больше всего, страстнее всего занимал нас вопрос религиозный – не вероисповедный, а именно религиозный – о бытии Бога. Бессонные ночи, подлинные душевные муки, страстные споры, чтение Библии наряду с Ренаном и другой «безбожной» литературой... Обращаться за разрешением своих сомнений к училищным законоучителям было бесполезно. Наш старый священник, отец Елисей, сам, наверно, не тверд был в Богопознании; ловичский законоучитель, когда к нему решился обратиться раз мой товарищ-семиклассник Дубровский, вместо ответа поставил ему «двойку» в четверть и обещал срезать на выпускном экзамене; а к своему ксендзу поляки обращаться и не рисковали – боялись, что донесет училищному начальству. По крайней мере, списки уклонившихся от исповеди представлял неукоснительно. По этому поводу вызывались к директору родители уклонившихся для крайне неприятных объяснений, а виновникам сбавлялся балл за поведение...

Много лет спустя, когда я учился в Академии Генерального штаба, на одной из своих лекций профессор психологии А. И. Введенский рассказывал нам:

– Бытие Божие воспринимается, но не доказывается. Когда-то на первом курсе университета слушал я лекции по богословию. Однажды профессор богословия в течение целого часа доказывал нам бытие Божие: «во-первых... во-вторых... в-третьих»... Когда вышли мы с товарищем одним из аудитории – человек он был верующий, – говорит он мне с грустью:

– Нет, брат, видимо, Божье дело – табак, если к таким доказательствам прибегать приходится...

Вспомнил я этот рассказ Введенского вот почему. Мой друг – поляк, шестиклассник, вопреки правилам, пошел на исповедь не к училищному, а к другому молодому ксендзу. Повинился в своем маловерии. Ксендз выслушал и сказал:

– Прошу тебя, сын мой, исполнить одну мою просьбу, которая тебя ничем не стеснит и ни к чему не обяжет.

– Слушаю.

– В минуты сомнений твори молитву: «Боже, если Ты есть, помоги мне познать Тебя»... Товарищ мой ушел из исповедальни глубоко взволнованный.

Я лично прошел все стадии колебаний и сомнений и в одну ночь (в 7-м классе), буквально в одну ночь, пришел к окончательному и бесповоротному решению: человек – существо трех измерений – не в силах осознать высшие законы бытия и творения. Отметаю звериную психологию Ветхого Завета, но всецело приемлю христианство и православие.

Словно гора свалилась с плеч!

С этим жил, с этим и кончаю лета живота своего.



Преподаватели

Кто были нашими воспитателями в школе?

Перебирая в памяти ученические годы, я хочу найти положительные типы среди учительского персонала моего времени и не могу¹². Это были люди добрые или злые, знающие или незнающие, честные или корыстные, справедливые или пристрастные, но почти все – только чиновники.

«Отзвонить» свои часы, рассказать своими словами по учебнику, задать «отсюда досюда» – и всё. До наших душонок им не было никакого дела. И росли мы сами по себе, вне всякого школьного влияния. Кого воспитывала семья, а кого – и таких было немало – исключительно своя же школьная среда, у которой были свои неписанные законы морали, товарищества и отношения к старшим, – несколько расходившиеся с официальными, но, право же, не всегда плохие.

Зато типов и фактов анекдотических не перечесть.

Вот учитель немецкого языка, невозможно коверкавший русскую речь. Ни мы его не понимали, ни он нас. На протяжении нескольких часов он поучал нас, что величайший поэт мира есть Клопшток. Так надоел со своим Клопштоком, что слово это стало у нас ругательной кличкой.

Сменивший его другой учитель К. был взяточником. Обращался, бывало, к намеченному ученику:

– Вы не успеваете в предмете. Вам необходимо брать у меня частные уроки.

Условия известны: срок – месяц; плата – 25 рублей; время занятий – два-три раза в неделю по полчаса. Хороший балл в году и на экзамене обеспечен. Дешево!

С таким же предложением К. обратился как-то и ко мне. Я ответил:

– Платить нам за уроки нечем. А на «тройку» я знаю достаточно.

Казалось бы, в крае, подвергавшемся русификации, преподавание русской литературы не только с воспитательной, но хотя бы с целью пропаганды должно было быть поставлено образцово. Между тем наши учителя облекали свой предмет в такую скуку, в такую казенщину, что могли бы отбить не только у поляков, но и у нас, русских, всякую охоту к чтению, если бы не природное влечение к живому слову, если бы не внедренная в нас жажда к самообразованию.

В Ловиче прикладную математику (четыре предмета) преподавал В., человек больной – полупаралитик. Не то по природе, не то от болезни – злой и раздражительный. Приходил в училище редко, никогда не объяснял уроков, а только задавал и спрашивал. При этом без стеснения сыпал единицы и двойки.

Наши тетрадки с домашними работами возвращались от него без каких-либо поправок, очевидно, не проверенные, и только скрепленные подписью... с росчерком его жены. Начальство знало все это, но закрывало глаза – учителю не хватало двух или трех лет до полной пенсии.

Класс наш, наконец, возмутился. Решено было заявить протест, что возложено было на меня. Я, как «пифагор», подвергался меньшему риску от учительского гнева.

Когда В. вошел в класс, я обратился к нему:

– Сегодня мы отвечать не можем. Никто нам не объяснил, и мы не понимаем заданного.

В. накричал, обозвал нас дураками за то, что мы «не понимаем простых вещей», не объяснил, а стал спрашивать. Но отметок в этот день все же не поставил.

Отец одного из моих товарищей, несправедливо недопущенного к экзаменам, Нарбут, подал жалобу попечителю Варшавского учебного округа, нарисовав всю картину оригинального преподавания В. Жалоба была оставлена без последствий, но В. был отстранен от производства выпускных экзаменов, и из Варшавы был прислан для этой цели один из профес-

¹² Один Епифанов; о нем – дальше. (Примеч. автора.)

соров Варшавского университета. Но так как, паче чаяния, экзамены сошли благополучно, то В. оставили... дослуживать пенсию.

Порядок письменных экзаменов при выпуске был таков: учителя всего округа посылали секретным порядком попечителю проекты экзаменационных тем (или задач) по своим предметам; попечитель избирал основную тему и запасную – для всех училищ одинаковую – и пересылал их на места в запечатанных конвертах, которые вскрывались в час экзамена. Экзаменационные работы посылались потом в округ, где, на основании их, начальство судило об успешности преподавания.

Случилось так, что два года подряд выпускные работы по «приложению алгебры к геометрии» оказывались неудовлетворительными и вызывали выговоры учителю чистой математики Г. Поэтому Г. сказал одному из моих товарищей, с семьей которого он был в дружеских отношениях:

– Хотя это государственное преступление, но я дам тебе для класса проект моего задания. Под одним только условием – чтобы об этом не знал Я-ский. Я ему не доверяю.

Должен признаться, что, согласно неписаному кодексу школьной морали, эта неожиданная «помощь» была воспринята нами вовсе не как «преступление», а как средство самозащиты. Тем более что оказана она была не «любимчикам», а всему классу. Совершенно так же школьная мораль расценивала «списывание» и подсказывание, шпаргалки и всякий другой обман учителей, если только он не шел вразрез с интересами других товарищей.

Я-ского, который жил на одной квартире со мной, обойти было, конечно, невозможно, ибо был он порядочный человек и хороший товарищ. Г. ошибался в нем. По поручению класса, мне пришлось долго повозиться с ним, чтобы, не объясняя мотивов, заставить его заняться решением этой задачи.

Но тут возник другой вопрос: имеем ли мы нравственное право воспользоваться такой льготой, если варшавские семиклассники ею не воспользуются и многие могут «срезаться»... Класс решил, что это было бы нечестно. Снарядили в Варшаву тайно посланца, который повидался там со своими приятелями – тамошними семиклассниками, взял с них «ганнибалову клятву» о сохранении тайны, передал им задание и благополучно вернулся.

Настал день экзамена. Нас рассадили за отдельные столики, комиссия вскрыла конверт, и учитель написал на доске текст задания.

Увы! Задача другая и притом, на первый взгляд, очень трудная...

Читаю условие... Что за чепуха! Нет никакого смысла. Перечитываю еще раз – конечно, чепуха. Переглядываюсь с «пифагорами». Те глазами и жестами высказывают свое недоумение. Встал, подал свой штампованный лист пустым:

– Задание составлено неверно.

За мной – другие. Члены комиссии давно уже недоуменно беседовали между собою шепотом. Пошли на совещание с директором... Оказалось впоследствии, что чиновник окружной канцелярии при переписке задания пропустил одну строчку, благодаря чему оно потеряло смысл...

Скоро комиссия вернулась, вскрыла запасной конверт.

Ура! Задание Г.

Нечего говорить, что и у нас, и в Варшаве экзамен по «приложению алгебры к геометрии» прошел блестяще, а Г. получил благодарность от окружного начальства.

Веселыми были экзамены по Закону Божию. Знали мы предмет неважно. Законоучитель-ксендз, для сохранения лица, расписывал, бывало, программу заранее между выпускными; каждый подготовлял один – свой – билет и отвечал именно по этому билету, а не по тому, который вытаскивал на экзамене. Трудно было начать, и потому изошрялись по-разному:

– Прежде чем перейти к событиям... (тема законного билета), необходимо бросить взгляд на... (тема билета незаконного)...

Председатель комиссии инспектор слушал невнимательно, и все сходило с рук.

Призывает нас, четырех выпускных-православных, отец Елисей и говорит:

– Наслышан я, что ксендз на экзамене плутует. Нельзя и нам, православным, ударить в грязь лицом перед римскими католиками. Билет – билетом, а спрашивать я буду вот что...

Указал каждому тему.

– А потом, будто невзначай, задам еще по вопросу. Вас спрошу: «Не знаете ли, какой двенадесятый праздник предстоит в ближайшее время?» Вы ответите и объясните значение праздника. А вас спрошу: «Не знаете ли – какого святого память чтит сегодня Святая Церковь?» Вы ответите... «А чем примечательна его кончина?» Вы ответите: «Распилен был мучителями деревянной пилой». А вас я спрошу...

Мне достался двенадесятый праздник, и потому все сошло правдоподобно. Но товарищ мой бедный, которому досталось сказание про деревянную пилу, под пронизывающим, насмешливым взглядом инспектора, понявшего инсценировку, краснел, пытел и так и не закончил жития.

Но довольно.

Исключение представлял учитель чистой математики, Александр Зиновьевич Епифанов. Москвич, старообрядец, народник, немного толстовец – он приехал в наш городишко тотчас по окончании Московского технического училища, с молодой женой, и сразу привлек к себе внимание всех обитателей. Прислуги они не держали. И когда соседи увидели, что «пани-профэссорова»¹³ сама стирает белье и развешивает его на дворе, а «пан-профэссор» выносит ведра во двор в помойную яму (водопровода и канализации в то время не было), то удивлению и осуждению не было границ.

А когда рабочие привезли «пану-профэссорови» мебель, и он, после установки, усадил их вместе с собой и женой обедать, об этом говорил весь город, толкуя событие на все лады. Одни решили – «тронутый», другие, качая головой, произносили малопонятное слово – «социалист». А жена жандармского подполковника по секрету передавала моей матери, что над Епифановым установлен негласный надзор...

Епифанов никакой «противоправительственной деятельностью» не занимался и, конечно, никакой «политики» не касался в беседах со своими питомцами. А влиянием на них пользовался большим. В качестве классного наставника, он вникал в нашу жизнь, старался найти причины проступков и неуспешности, помогал советами, защищал от неумеренного гнева инспекторского и умел наказывать и прощать так, что все мы чувствовали справедливость его решений.

Однажды мы – человека четыре – зашли к нему на дом за какими-то разъяснениями. Принял радушно, угостил чаем, пригласил заходить вечерами, «когда появятся волнующие вопросы». Заходили не раз. Не морализируя, не навязывая своих мнений, на темы литературные и просто житейские, в свободных спорах, что нам особенно льстило, он незаметно внушал нам понятие о добре, правде, о долге, об отношениях к людям.

Много добрых семян заложил в молодые души Александр Зиновьевич Епифанов.

Однажды вечером помощник классных наставников, проверяя ученические квартиры, не застал меня и других дома и узнал, что мы находимся у Епифанова. Училищное начальство тотчас же приказало прекратить эти посещения.

¹³ У поляков была склонность повышать людей в ранге: маленький писец – «радца» (советник); учитель – «профессор»; гимназист – «студэнт»; студент – «академик». А лицо вовсе без определенной профессии – «пан мэцэнас». (Примеч. автора.)

Во Влоцлавске Епифанов не ужился. Перевели, помимо желания, в Лович. В Ловиче также не пришелся ко двору. После бурного протеста против поощрявшегося начальством доносительства, был переведен на низший оклад в Замостье, где находилась тогда не то прогимназия, не то ремесленное училище.

Дальнейшая судьба его мне неизвестна.



Смерть отца

Меня отец не «поучал», не «наставлял». Не в его характере это было. Но все то, что отец рассказывал про себя и про людей, обнаруживало в нем такую душевную ясность, такую прямолинейную честность, такой яркий протест против всякой человеческой неправды и такое стоическое отношение ко всяким жизненным невзгодам, что все эти разговоры глубоко западали в мою душу.

Невзирая на возраст, был он здоров и крепок. Помню, шли мы с ним как-то по городу и встретили подростка лет пятнадцати, который стоял над тяжелым мешком с мукой и плакал. Снял мешок с плеч, чтобы отдохнуть, а взвалить обратно не мог. Отец поднял мешок, вымазавшись в муке, и тут же схватил... солидную грыжу. Это была первая в жизни болезнь или повреждение, если не считать раны в руку, нанесенной польским косиньером в рукопашной схватке и оставившей довольно глубокий след. Рану отец считал несерьезной и в формуляр не заносил.

Только последние годы жизни отец стал страдать болями в желудке. Лечиться не на что было, да и не привык он обращаться к врачам. Пользовался несколько лет подряд каким-то народным средством. К весне 1885 года отец не вставал уже с постели; сильные боли и непрестанная икота; приглашенный врач определил – рак в желудке.

Мать не отходила от постели больного, меня на ночь выдворяли в соседнюю комнату.

Стал отец часто и спокойно говорить о своей близкой смерти, что наполняло мое сердце жгучей болью. Осталось в памяти его последнее напутствие:

– Скоро я умру. Оставляю тебя, милый, и мать твою в нужде. Но ты не печалься – Бог не оставит вас. Будь только честным человеком и береги мать, а все остальное само придет. Пожил я довольно. За все благодарю Творца. Только вот жалко, что не дождался твоих офицерских погон...

Шли дни Великого поста. Отец часто молился вслух:

– Господи, пошли умереть вместе с Тобой...

В Страстную пятницу я был в церкви на выносе плащаницы и пел, по обыкновению, на клиросе. Подходит ко мне знакомый мальчик и говорит:

– Иди домой, тебя мать требует.

Прибежал домой – отец уже мертв.

Исполнилось желание его – умереть в Страстную пятницу. Самовнушение или милость Божия?

На третий день Пасхи отца похоронили. Хор музыкантов 1-го стрелкового батальона играл похоронный марш; сотня пограничников проводила гроб в могилу тремя ружейными залпами; могилу засыпали землей, и мы с матерью – жалкие и несчастные в тот день, как никогда, – вернулись в свой осиротевший дом.

Для могильной плиты приятель отца, ротмистр Ракицкий, составил надпись:

«В простоте души своей он боялся Бога, любил людей и не помнил зла».

* * *

Со смертью отца материальное положение наше оказалось катастрофическим. Мать стала получать пенсию всего 20 руб. в месяц. Пришлось мне, хотя я и сам был тогда еще юн и нетверд в науках, репетировать двух второклассников. За два урока получал 12 руб. в месяц. Никакого влечения к педагогической деятельности я не имел, и тяготили меня эти занятия ужасно.

В особенности зимой, когда рано темнело. Вернувшись из училища часа в четыре и наскоро пообедав, бежал на один урок, потом – в противоположный конец города на другой. А тут уж и ночь, да свои уроки готовить надо... Никакого досуга ни для детских игр, ни для Густава Эмара. Праздника ждал, как манны небесной.

Года два еще кое-как перебивались, наконец, стало невмоготу. На «семейном совете» (мать, нянька и я) решили попытаться получить разрешение на держание ученической квартиры. Пошли с матерью к директору Левшину. Тот дал разрешение на квартиру для восьми учеников. Нормальная плата была 20 руб. с человека. Так как к тому времени повысилась сильно моя школьная репутация («пифагор»), то меня же директор назначил «старшим» по квартире.

С тех пор, если и не было у нас достатка, то кончилась та беспросветная нужда, которая висела над нами в течение стольких лет.

К этому же времени относится и резкое изменение нашего «семейного статута». Школьные успехи, некоторая серьезность характера, вызванная впечатлением от кончины отца и его предсмертного наказа – «береги мать...», и участие в добывании средств на хлеб насущный – с одной стороны.

С другой – одиночество моей бедной матери, инстинктивно искавшей хоть какой-нибудь опоры, даже такой ничтожной, какую мог дать пятнадцатилетний сын... Все это незаметно создало мне положение равноправного члена семьи. Меня никогда больше не наказывали и не пилили. Мать делилась со мной своими переживаниями, иногда советовалась по вопросам нашего несложного домашнего быта.

Со времени производства моего в офицеры мать жила при мне до самой своей смерти, последовавшей в Киеве, в 1916 году, когда я был на войне и командовал уже корпусом.



Выбор карьеры

В первый год моей жизни, в день какого-то семейного праздника, по старому поверью, родители мои устроили гадание: разложили на подносе крест, детскую саблю, рюмку и книжку. К чему первому дотронусь, то и предопределит мою судьбу. Принесли меня. Я тотчас же потянулся к сабле, потом поиграл рюмкой, а до прочего ни за что не захотел дотронуться.

Рассказывая мне впоследствии об этой сценке, отец смеялся:

– Ну, думаю, дело плохо: будет мой сын рубакой и пьяницей!

Гаданье и сбылось, и не сбылось. «Сабля», действительно, предредила мою жизненную дорогу, но и от книжной премудрости я не отрекся. А пьяницей не стал, хотя спиртного вовсе не чуждаюсь. Был пьян раз в жизни – в день производства в офицеры.

Рассказы отца, детские игры (сабли, ружья, «война») – все это настраивало на определенный лад. Мальчишкой я целыми часами пропадал в гимнастическом городке 1-го стрелкового батальона, ездил на водопой и купанье лошадей с литовскими уланами, стрелял дробинками в тире пограничников. Ходил версты за три на стрельбище стрелковых рот, пробирался со счетчиками пробоин в укрытие перед мишенями. Пули свистели над головами – немножко страшно, но занятно очень, придавало вес в глазах мальчишек и вызывало их зависть... На обратном пути вместе со стрелками подтягивал солдатскую песню:

Греми слава трубой
За Дунаем, за рекой.

Словом, прижился к местной военной среде, приобретя знакомых среди офицерства и еще более приятелей среди солдат.

У солдат покупал иной раз боевые патроны – за случайно перепавший пятак или за деньги, вырученные от продажи старых тетрадок; сам разряжал патроны, а порох употреблял на стрельбу из старинного отцовского пистолета или закладывал и взрывал фугасы.

Будущая офицерская жизнь представлялась мне тогда в ореоле сплошного веселья и лихости. В нашем доме жили два корнета 5-го Уланского полка. Я видал их не раз лихо скакавшими на ученье, а в квартире их всегда дым стоял коромыслом. Через открытые окна доносились веселые крики и пение. Особенно меня восхищало и... пугало, когда один из корнетов, сидя на подоконнике и спустив ноги за окно, с бокалом вина в руке, бурно приветствовал кого-либо из знакомых, проходивших по улице. «Ведь третий этаж, вдруг упадет и разобьется!..»

Через 25 лет, во время Японской войны, мы вспоминали мое детское увлечение: бывший корнет, теперь генерал Ренненкампф, – прославленный начальник Восточного отряда Маньчжурской армии, и я – его начальник штаба...

По мере перехода в высшие классы, свободного времени становилось меньше, появились другие интересы, и «воинские упражнения» мои почти прекратились. Не бросил только гимнастики и преуспевал в «военном строе», который был введен в училищную программу в 1889 году.

Во всяком случае, когда я окончил реальное училище, хотя высокие баллы по математическим предметам сулили легкую возможность прохождения любого высшего технического заведения, об этом и речи не было.

Я избрал военную карьеру.



В военном училище

В конце 1880-х годов для комплектования русской армии офицерами существовали училища двух типов: военные училища, имевшие однородный состав по воспитанию и образованию, так как комплектовались они юношами, окончившими кадетские корпуса (средние учебные заведения с военным режимом); и юнкерские училища, предназначенные для молодых людей «со стороны» – всех категорий и всех сословий.

Огромное большинство поступавших в них не имело законченного среднего образования, что придавало училищам этим характер второсортности. Военные училища выпускали своих питомцев во все роды оружия офицерами, а юнкерские – только в пехоту и кавалерию

в звании, среднем между офицерским и сержантским, и только впоследствии они производились в офицеры.



Юнкер А. И. Деникин. Фотография. 1890-е гг.

В 1880-х годах соотношение выпускаемых из военных и юнкерских училищ было 26% и 74%. Путем постепенных реформ перед Первой мировой войной, в 1911 году все училища стали «военными», и русский офицерский состав по своей квалификации не уступал германскому и был выше французского.

В 1888 году создано было училище третьего типа, под названием Московское юнкерское училище с военно-училищным курсом. Программа и права были те же, что и в военных училищах, и принимались туда вольноопределяющиеся (солдаты) с законченным высшим или средним образованием гражданских учебных заведений.

Потребность в нем так назрела, что стены его не могли вместить желающих. Поэтому такие же курсы были открыты при Киевском юнкерском училище, куда я и поступил осенью 1890 года, предварительно записавшись в 1-й Стрелковый полк, квартировавший в Плоцке.

Собралось нас там 90 человек. Для классных занятий мы были распределены по трем отделениям с особым составом преподавателей, а во всех прочих отношениях – размещения, довольствия, обмундирования и строевого обучения – нас слили с юнкерами «юнкерского курса». Большие преимущества наши по правам выпуска вызывали в них невольно ревнивое чувство.

Училище наше помещалось в старинном крепостном здании со сводчатыми стенами-нишами, с окнами, обращенными на улицу, и с пушечными амбразурами, глядевшими в поле, к реке Днепру. Началась новая жизнь, замкнутая в четырех стенах, за которыми был запретный мир, доступный только в отпускные дни. Строгое и точное, по часам и минутам, расписание повседневного обихода... День и ночь, работа и досуг, даже интимные отправления – все на людях, под обстрелом десятков чужих взоров.

Для людей с воли – гимназистов, студентов – было ново и непривычно это полусвободное существование. Некоторые юнкера поначалу приходили в уныние и, тоскливо сложившись по неуютным казематам, раскаивались в выборе карьеры. Я лично, приобшившийся с детства к военному быту, не так уж тяготился юнкерским режимом. Но и я, вместе с другими, в тихие ночи благоуханной южной весны не раз, бывало, просиживал целыми часами в открытых амбразурах, в томительном созерцании поля, ночи и воли...

Бывали и такие «непоседы», что, рискуя непременным изгнанием из училища, спускались на жгутах из простынь через амбразуру вниз, на пустырь. И уходили в поле, на берег Днепра. Бродили там часами и перед рассветом условленным свистом вызывали соумышленников, подымавших их наверх.

А на случай обхода дежурного офицера – на кровати самовольно отлучившегося покоилось отлично сделанное чучело.

По тем же причинам отпускные дни (нормально – раз в неделю) были весьма ценными для нас, а лишение отпуска (за дурное поведение или неудовлетворительный балл) – самым чувствительным наказанием. Поэтому лишенные отпуска или нуждающиеся в нем в неурочный день уходили иногда в город самовольно – тайком. Возвращались обыкновенно через классные комнаты, расположенные в нижнем этаже. Там юнкера готовились по вечерам к очередной репетиции.

Случился раз грех и со мной. Вернувшись из самовольной отлучки, стучу осторожно в окно своего отделения. Приятели услышали. Один становится на пост у стеклянных дверей, другой открывает окно, в которое бросаю штык, фуражку и шинель; потом прыгаю в окно и тотчас же углубляюсь в книгу. Потом уже общими усилиями проносятся в роту компрометирующие «выходные» предметы. Труднее всего с шинелью... Одеваю ее внакидку и с опаской иду в роту. Навстречу, на несчастье, дежурный офицер.

– Вы почему в шинели?

– Что-то знобит, господин капитан.

У капитана во взгляде сомнение. Быть может, и самого когда-то «знобило».

– Вы бы в лазарет пошли...

– Как-нибудь перемогусь, господин капитан.

Пронесло. От исключения из училища спасен.

Возвращались юнкера из легального отпуска к вечерней перекличке. Опоздать хоть на минуту – Боже сохрани. Пьянства, как сколько-нибудь широкого явления, в училище не было. Но бывало, что некоторые юнкера возвращались из города под хмельком, и это обстоятельство вызывало большие осложнения: за пьяное состояние грозило отчисление от училища, за «винный дух» – арест и «третий разряд по поведению», который сильно ограничивал юнкерские права, в особенности при выпуске.

Если юнкер не мог, не запинаясь, отпрапортовать дежурному офицеру, то приходилось принимать героические меры, сопряженные с большим риском. Вместо выпившего рапор-

товал кто-либо из его друзей, конечно, если дежурный офицер не знал его в лицо. Не всегда такая подмена удавалась. Однажды подставной юнкер К. рапортовал капитану Левуцкому:

– Господин капитан, юнкер Р. является...

Но под пристальным взглядом Левуцкого голос его дрогнул, и глаза забежали. Левуцкий понял:

– Приведите ко мне юнкера Р., когда проспится.

Когда утром оба юнкера в волнении и страхе предстали перед Левуцким, капитан обратился к Р.:

– Ну-с, батенька, видно, вы не совсем плохой человек, если из-за вас юнкер К. рискнул своей судьбой накануне выпуска. Губить вас не хочу. Ступайте!

И не доложил по начальству.

Юнкерская психология воспринимала кары за пьянство как нечто суровое и неизбежное. Но преступности «винного духа» не признавала, тем более что были мы в возрасте 18—23 лет, а на юнкерском курсе и под 30; что в армии в то время производилась по военным праздникам выдача казенной «чарки водки», да и училищное начальство вовсе не состояло из пуритан...

Вообще воинская дисциплина, в смысле исполнения прямого приказа и чинопочитания, стояла на большой высоте. Но наши юнкерские традиции вносили в нее своеобразные «поправки». Так, обман – вообще и в частности наносящий кому-либо вред, – считался нечестным. Но обманывать учителя на репетиции или экзамене разрешалось.

Самовольная отлучка или рукопашный бой с «вольными», с употреблением в дело штыков, где-нибудь в подозрительных предместьях Киева, когда надо было выручать товарищей или «поддержать юнкерскую честь», вообще действия, где проявлены были удасть и отсутствие страха ответственности, встречали полное одобрение в юнкерской среде.

И наряду с этим кара за них, вызывая сожаление, почиталась все же правильной... Особенно крепко держалась традиция товарищества, прежде всего в одном ее проявлении – «не выдавать». Когда один из моих товарищей побил сильно доносчика и был за это переведен в «третий разряд», не только товарищи, но некоторые начальники старались выручить его из беды, а побитого преследовали.

Ввиду того что по содержанию нас приравняли к юнкерскому курсу, жили мы почти на солдатском положении. Ели чрезвычайно скромно, так как наш суточный паек (около 25 копеек) был только на 10 копеек выше солдатского; казенное обмундирование и белье получали также солдатское, в то время плохого качества. Большинство юнкеров получали из дому небольшую сумму денег (мне присылала мать 5 рублей в месяц).

Но были юнкера бездомные или очень бедных семей, которые довольствовались одним казенным жалованьем, составлявшим тогда в месяц 22½ (рядовой) или 33½ копейки (ефрейтор). Не на что было им купить табаку, зубную щетку или почтовые марки. Но переносили они свое положение стоически.

Вообще условия жизни в училище отличались суровой простотой и скромностью, являясь хорошей школой для вступления в обер-офицерскую жизнь. Надо заметить, что в начале 1890-х годов младший офицер получал в месяц около 50 рублей содержания. И хотя до революции дважды увеличивалось содержание, но стандарт офицерской жизни стоял всегда на низком уровне.

И потому, когда во время революции митинговые ораторы большевистского лагеря причисляли к буржуазии, ими ненавидимой и истребляемой, офицерство, это была неправда: русский офицерский корпус в главной массе своей принадлежал к категории трудового интеллигентного пролетариата.

* * *

Строевое образование во всех училищах стояло на должной высоте. Военная муштра скоро преображала бывших гимназистов, семинаристов, студентов в заправских юнкеров, создавая ту особенную выправку, которая не оставляла многих до смерти и позволяет отличить военного человека под каким угодно платьем.

Проходили мы всю солдатскую службу обстоятельно – первый год в качестве учеников, второй – в роли учителей молодых юнкеров. Строевыми успехами мы гордились, роты соревновались одна с другой. Понятно поэтому, какую горькую обиду испытал я и все мы, когда командующий войсками округа, знаменитый генерал М. Драгомиров, производя однажды смотр училищу, нашел полный беспорядок в строю и прогнал нас с учебного плаца...

Дело в том, что к тому времени по программе пройдены были только взводные ученья, а Драгомиров, не зная, приказал произвести батальонное. Недоразумение, впрочем, скоро разъяснилось. Зато какая радость охватила всех нас, когда в другой раз на маневре генерал горячо поблагодарил нас. Мы приняли участие тогда в производившемся в первый раз в русской армии ученье с боевыми патронами и стрельбой артиллерии через головы пехоты.

До этого драгомировского нововведения, из-за опасения несчастного случая, впереди батарей в огромном секторе артиллерийского обстрела пехота не развертывалась, что искажало совершенно картину действительного боя. Артиллеристы, по-видимому, нервничали, и снаряды падали иногда в опасной близости от нас. В юнкерских рядах не произошло ни малейшего замешательства, и ученье вообще прошло блестяще.

Во время классных занятий всегда тишина и порядок. Только на уроке французского языка юнкера позволяли себе всякие вольности. Военные предметы и подсобные к ним проходились основательно, но слишком теоретически. Позднее, во время «военного ренессанса» (после японской войны), программы изменились в лучшую сторону.

Гражданские предметы давали знание, но не повышали общее образование, которое считалось законченным в среднем учебном заведении. Из общих предметов проходили Закон Божий, два иностранных языка, химию, механику, аналитику и русскую литературу. Характерно, что из-за боязни, вероятно, занесения «вредных идей», только древнюю...

Если три четверти юнкерской энергии и труда уходило на преодоление науки, то так же, как и в моем реальном училище, четверть шла на проказы. «Шпаргалки», в особенности для химических формул и для баллистики, писались на манжетах или на листках, выскакивавших из рукава на резинке... На репетиции по Закону Божию выходили прямо с учебником...

Для письменного экзамена по русскому языку производилась заранее разверстка билетов, каждый юнкер заготавливал одно сочинение, они раскладывались в порядке номеров по партам. И во время экзамена юнкер, взяв билет, садился на то место, где лежала его шпаргалка... И т. д.

Я учился хорошо, и редко приходилось прибегать к фокусам. Вот разве только на репетициях по французскому языку... Мой однополчанин Нестеренко, хорошо владевший языком, обыкновенно сдавал репетицию за троих, дважды переодеваясь. В мундире с чужого плеча, то с подвязанной щекой, то с леденцом во рту, чтобы изменить голос, – он имел вид глубоко комичный.

Француз никого не помнит в лицо. Нестеренко переводит с французского умышленно не бойко – словом, на 8—9 баллов¹⁴. Но вот однажды, сдавая репетицию за меня, он забылся

¹⁴ По двенадцатибалльной системе. (Примеч. автора.)

и прочел французский текст с таким хорошим акцентом, что француз насторожился и замолчал. А Нестеренко ждет подсказа и, не дождавшись, переводит да переводит.

Француз, разобрав, в чем дело, торжественно поднялся, взял под руки нас обоих и повел к инспектору классов.

– Ваше превосходительство, не губите...

И весь класс речитативом запел:

– Не-гу-би-те!..

Француз довел нас только до дверей и отпустил с миром.

Быт необыкновенно живуч. В воспоминаниях моего однокашника, окончившего училище через восемь лет, я нашел такое же точно описание юнкерских проказ, с небольшими только «техническими усовершенствованиями»...

* * *

Так или иначе, мы кончали училище с достаточными специальными знаниями для предстоящей службы. Но ни училищная программа, ни преподаватели, ни начальство не задавались целью расширить кругозор воспитанников, ответить на их духовные запросы. Русская жизнь тогда бурлила, но все так называемые «проклятые вопросы», вся «политика» – понятие, под которое подводилась вся область государственного и социальных знаний, проходили мимо нас.

Надо сказать, что ни в одной стране университетская молодежь не принимала такого бурного и деятельного участия в политической жизни страны, как в России. Партийные кружки, участие в революционных организациях, студенческие забастовки по мотивам политическим, сходки и «резолуции», «хождение в народ», который, увы, так мало знала молодежь («Новь» Тургенева и др.), – все это заполняло студенческую жизнь. В одном из отчетов Петербургского Технологического института приведены были такие данные об участии студентов в политической жизни: состоявших в партийных организациях – 80%, беспартийных – 20%. Причем «левых» – 71%, «правых» – 5%...

Подпольная литература того времени, составлявшая во многих случаях духовную пищу передовой молодежи, углубляла отрыв студенчества от национальной почвы, смущала разум, обозляла сердца. «Отсталость» в этом отношении юнкеров была одной из причин отчуждения их от студенчества, в большинстве смотревшего на военную среду, как на нечто чуждое и враждебное.

Военная школа уберегла своих питомцев от духовной немочи и от незрелого политиканства. Но сама, как я уже говорил, не помогла им разобраться в сонме вопросов, всколыхнувших русскую жизнь. Этот недочет должно было восполнить самообразование. Многие восполнили, но большинство не удосужилось.

В нашем училище начальники приказывали, следили за выполнением приказа и карали за его нарушение. И только. Вне служебных часов у нас не было общения с училищными офицерами. Но тем не менее вся окружающая атмосфера, пропитанная бессловесным напоминанием о долге, строго установленный распорядок жизни, постоянный труд, дисциплина, традиции юнкерские – не только ведь школьные, но и разумно-воспитательные, – все это в известной степени искупало недочеты школы и создавало военный уклад и военную психологию, сохраняя живучесть и стойкость не только в мире, но и на войне, в дни великих потрясений, великих искушений.

Военный уклад перемалывал все те разнородные социальные, имущественные, духовные элементы, которые проходили через военную школу. Студент Петербургского университета Н. Лепешинский – брат известного социал-демократа, сделавшего впоследствии

карьеру у большевиков, был исключен из университета за революционную деятельность, без права поступления в какое-либо учебное заведение, словом – с «волчьим билетом».

Лепешинский сжег свои документы и держал экзамен за среднее учебное заведение экстерном, в качестве получившего якобы домашнее образование. Получив свидетельство, поступил в Московское училище.

После нескольких месяцев пребывания в училище, где Лепешинский учился и вел себя отлично, вызвали его к инспектору классов, капитану Лобачевскому.

– Это вы?

Лепешинский побледнел: на столе лежал проскрипционный список, периодически рассылаемый Министерством народного просвещения, и в нем – подчеркнутая красным карандашом его фамилия...

– Так точно, господин капитан.

Лобачевский посмотрел ему пристально в глаза и сказал:

– Ступайте.

И больше ни слова.

Велика должна была быть уверенность Лобачевского в «иммунитете» военной школы. Лепешинский вышел вместе со мной во 2-ю Артиллерийскую бригаду. Кроме большого скептицизма, ничто не обличало его прошлое. Служил усердно, в японскую войну дрался доблестно и был сражен неприятельской шимозой.

Я остановился на этих вопросах потому, что наш военный уклад имел два огромных, исторического значения последствия.

Недостаточная осведомленность в области политических течений и особенно социальных вопросов русского офицерства сказалась уже в дни первой революции и перехода страны к представительному строю. А в годы второй революции большинство офицерства оказалось безоружным и беспомощным перед безудержной революционной пропагандой, спасовав даже перед солдатской полуинтеллигенцией, натасканной в революционном подполье.

И второе последствие, о котором человек социалистического лагеря¹⁵, вряд ли склонный идеализировать военный быт, говорит: *«Интеллигент презирал спорт так же, как и труд, и не мог защитить себя от физического оскорбления. Ненавидя войну и казарму, как школу войны, он стремился обойти или сократить единственную для себя возможность приобрести физическую квалификацию – на военной службе. Лишь офицерство получило иную школу, и потому лишь оно одно оказалось способным вооруженной рукой защищать свой национальный идеал в эпоху Гражданской войны».*

Без этих двух предпосылок невозможно понять ход русской революции и Гражданской войны 1917—1920 годов.



Выпуск в офицеры

После окончания двухлетнего курса, перед выходом в последний лагерный сбор, устраивались «похороны» с подобающей торжественностью. Хоронили «науки» (учебники) или юнкера, оканчивающего курс по «третьему разряду», – конечно, с его полного согласия. За

¹⁵ Статья профессора Г. Федотова «Революция идет». (Примеч. автора.)

«гробом» (снятая дверь) шествовали «родственники», а впереди «духовенство», одетое в ризы из одеял и простынь.

«Духовенство» возглашало поминание, хор пел – впоследствии, когда заведены были училищные оркестры, – чередуясь с похоронными маршами. Несли зажженные свечи и кадила, дымящиеся дешевым табаком. И процессия в чинном порядке следовала по всем казематам до тех пор, пока неожиданное появление дежурного офицера не обращало в бегство всю компанию, включая и «покойника».

Никто из нас не влагал в эти «похороны» кощунственного смысла. Огромное большинство участников были люди верующие, смотревшие на традиционный «обряд», как на шалость, но не кощунство. Подобно тому как не было кощунства в русском народном эпосе, представлявшем в песнях (южные «колядки») небесные силы в сугубо земной обстановке и фамильярном виде.

Юнкера отлично разбирались в характере своих начальников, подмечали их слабости, наделяли меткими прозвищами, поддевали в песне, слегка вуалируя личности. Про одних с похвалой, про других – зло и обличительно. Певали, бывало, под сурдинку в казематах, а теперь перед выпуском – даже всей ротой, в строю, возвращаясь с ученья. Начальство не реагировало.

Перед выходом в последний лагерь происходил важный в юнкерской жизни акт – разбор вакансий. В списке по старшинству в голове помещались фельдфебеля, потом училищные унтер-офицеры, наконец, юнкера по старшинству баллов.



Поручик А. И. Деникин. Фотография. 1895 г.

Еще в начале первого курса со мной случился неприятный казус. Я относился к юнкерам «юнкерского курса» безо всякой предвзятости и имел среди них немало друзей. Совершенно неожиданно друзья эти стали избегать меня, а юнкерское начальство (первый год все оно было юнкерского курса) стало преследовать меня наказаниями и своей властью, что в отношении других не практиковалось, и докладом дежурному офицеру. За что – мы не могли понять – ни я, ни мои товарищи.

Наконец, один из моих приятелей (юнкерского курса) по секрету объяснил мне, что юнкерское начальство нашей роты (1-й) сговорилось наказать меня за оскорбление, нанесенное всему юнкерскому курсу: я будто бы во время вечерней подготовки в классах, когда в наше отделение зашел один из юнкеров «юнкерских курсов», сказал:

– Терпеть не могу, когда к нам заходят эти шморгонцы¹⁶...

Юнкер этот обозначался: такой инцидент действительно имел место, но сказал эту фразу не я, а юнкер 2-й роты Силин. Силин, очень порядочный человек, – пошел тотчас же в 1-ю роту и заявил фельдфебелю, что произнес эту фразу он. После этого преследования сразу прекратились, отношения с приятелями возобновились, но мой кондюит был безнадежно погублен: до конца года я оставался во 2-м разряде по поведению и, несмотря на хорошие баллы, не был произведен в училищные унтер-офицеры.

Прошел второй год – без взысканий и с выпускным баллом 10,4. Меня произвели наконец, и, таким образом, хорошая вакансия была обеспечена.

На юнкерской бирже вакансии котиrowались в такой последовательности: гвардия (1 вакансия), полевая артиллерия (5—6 вакансий), инженерные войска (5—6 вакансий), остальные пехотные. Наш фельдфебель взял единственную вакансию в гвардию. В позднейших выпусках их было больше. Но гвардейские вакансии не общедоступны.

Хотя такого закона не существовало, но, по традиции, в гвардию допускались лишь потомственные дворяне. На этой почве выходили большие недоразумения, когда не предупрежденные о таких порядках юнкера недворянского сословия брали гвардейские вакансии. Выходили иногда громкие истории, доходившие до государя, но и он не мог или не хотел нарушить традицию: молодые офицеры, претерпев моральный урон, удалялись из гвардейских полков и получали другие назначения.

Я взял вакансию во 2-ю Артиллерийскую бригаду, квартировавшую в городе Беле Седлецкой губернии, которая впоследствии, по Рижскому договору 1920 года, перешла к Польше.

Помню, какое волнение и некоторую растерянность вызывал в нас акт разбора вакансий. Ведь помимо объективных условий и личных вкусов, было нечто провиденциальное в этом выборе тропинки на нашем жизненном пути, на переломе судьбы. Этот выбор во многом предопределял уклад личной жизни, служебные успехи и неудачи – и жизнь, и смерть.

Для помещенных в конце списка остаются лишь «штабы» с громкими историческими наименованиями – так назывались казармы в открытом поле, вдали от города, кавказские «урочища» или стоянки в отчаянной сибирской глуши. В некоторых из них вне ограды полкового кладбища было и «кладбище самоубийц», на котором похоронены были молоденькие офицеры, не справившиеся с тоской и примитивностью захолустной жизни.

Судьба разбросала нас по свету, по разным станам. Среди моих однокашников Киевского училища выпуска 1892 года только двое выдвинулись на военном поприще.

Военно-училищный курс окончил тогда, выйдя подпоручиком в артиллерию, Павел Сытин. Впоследствии он прошел курс Академии Генерального штаба и был возвращен в строй. В конце Первой мировой войны в чине генерала командовал артиллерийской бригадой. С началом революции неудержимой демагогией и «революционностью» ловил свою Фортуна в кровавом безвременье. И преуспел: поступив одним из первых на службу к большевикам, занял вскоре, но ненадолго, пост главнокомандующего Южным красным фронтом.

Это он вел красные полчища зимою 1918 года против Дона и моей Добровольческой армии...

Юнкерский курс окончил, выйдя подпрапорщиком в пехоту, Сильвестр Станкевич. Свой первый Георгиевский крест он получил в Китайскую кампанию 1900 года, командуя

¹⁶ Оскорбительная кличка. (Примеч. автора.)

ротой сибирских стрелков, за громкое дело – взятия им форта Таку. В Первой мировой войне он был командиром полка, потом бригады в 4-й Стрелковой «Железной дивизии», которой я командовал, участвуя доблестно во всех ее славных боях; в конце 1916 года принял от меня «Железную дивизию».

После крушения армии, имея возможность занять высокий пост в нарождавшейся польской армии, как поляк по происхождению, он не пожелал оставить своей второй родины: дрался искусно и мужественно против большевиков во главе Добровольческой дивизии в Донском бассейне против войск... Павла Сытина. Там же и умер.

Трагическое раздвоение старой русской армии: два пути, две совести.

* * *

Близится день производства. Мы чувствуем себя центром мироздания. Предстоящее событие так важно, так резко ломает всю жизнь, что ожидание его заслоняет собою все остальные интересы. Мы знаем, что в Петербурге производство обставлено весьма торжественно, происходит блестящий парад в Красном Селе в высочайшем присутствии, причем сам государь поздравляет производимых. Как будет у нас – неизвестно: в Киеве, за время его существования, это первый офицерский выпуск.

4 августа вдруг разносится по лагерю весть, что в Петербурге производство уже состоялось, несколько наших юнкеров получили от родных поздравительные телеграммы... Волнение и горечь: про нас забыли... Действительно, вышло какое-то недоразумение, и только к вечеру другого дня мы услышали звонкий голос дежурного юнкера:

– Господам офицерам строиться на передней линейке!

Мы летим стремглав, на ходу застегивая пояса. Подходит начальник училища, читает телеграмму, поздравляет нас с производством и несколькими задушевными словами напутствует нас в новую жизнь.

И всё.

Мы несколько смущены и даже как будто растеряны: такое необычайное событие и так просто, буднично все произошло... Но досадный налет скоро расплывается под напором радостного чувства, прущего из всех пор нашего преображенного существа. Спешно одеваемся в офицерскую форму и летим в город. К родным, знакомым, а то и просто в город – в шумную толпу, в гудящую улицу, чтобы окунуться с головой в полузапретную доселе жизнь, несущую – так крепко верилось – много света, радости, веселья.

Вечером во всех увеселительных заведениях Киева дым стоит коромыслом. Мы кочевали гурьбой из одного места в другое, принося с собой буйное веселье. С нами – большинство училищных офицеров. Льется вино, затеваются песни, сыплются воспоминания... В голове – хмельной туман, а в сердце – такой переизбыток чувства, что взял бы вот в охапку весь мир и расцеловал!

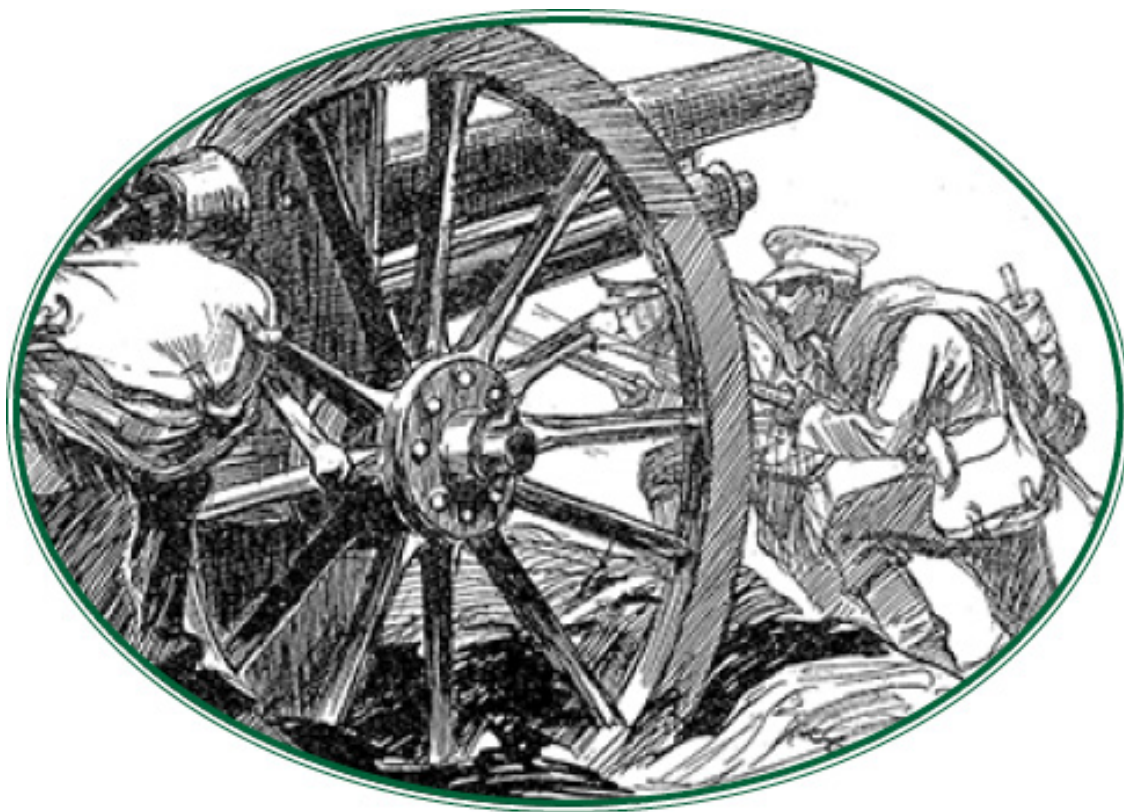
Потом люди, столики, эстрада – все сливается в одно многогранное, многоцветное пятно и уплывает.

В старой России были две даты, когда бесшабашное хмельное веселье пользовалось в глазах общества и охранителей порядка признанием и иммунитетом. Это день производства в офицеры и еще ежегодный университетский «праздник просвещения» – «Татьянин день».

Когда, забыв и годы, и седины, и больную печень, старые профессора и бывшие универсанты всех возрастов и положений, сливаясь со студенческой молодежью, кочевали из одного ресторана в другой, пили без конца, целовались, пели «Gaudeamus» и от избытка чувств и возлияний клялись в «верности заветам», не стесняясь никакими запретами.

* * *

Через два дня поезда уносили нас из Киева во все концы России – в 28-дневный отпуск, после которого для нас начиналась новая жизнь.



Часть вторая

В артиллерийской бригаде

Осенью 1892 года я прибыл к месту службы во 2-ю полевую артиллерийскую бригаду – в город Белу¹⁷ Седлецкой губернии.

Это была типичная стоянка для большинства войсковых частей, заброшенных в захолустья Варшавского, Виленского, отчасти Киевского, военных округов, где протекала иногда добрая половина жизни служилых людей. Быт нашей бригады и жизнь городка переплетались так тесно, что о последней приходится сказать несколько слов.

Население Белы не превышало 8 тысяч. Из них тысяч 5 евреев, остальные поляки и немного русских – главным образом служилый элемент.

Евреи держали в своих руках всю городскую торговлю, они же были поставщиками, подрядчиками, мелкими комиссионерами («факторы»). Без «фактора» нельзя было ступить ни шагу. Они облегчали нам хозяйственное бремя жизни, доставали все – откуда угодно и что угодно; через них можно было обзаводиться обстановкой и одеваться в долгосрочный кредит, перехватить денег под вексель на покрытие нехватки в офицерском бюджете. Ибо бюджет был очень скромный: я, например, получал содержание 51 рубль в месяц.

Возле нас проходила жизнь местечкового еврейства – внешне открыто, по существу же – совершенно замкнутая и нам чуждая. Там создавались свои обособленные взаимоотношения, свое обложение, так же исправно взимаемое, как государственным фиском, свои негласные нотариальные функции, свой суд и расправа, чинимые кагалом и почитаемыми цадиками и раввинами; своя система религиозного и экономического бойкота.

Среди бельских евреев был только один интеллигент – доктор. Прочие, не исключая местного «миллионера» Пижица, держались крепко «старого закона» и обычаев. Мужчины носили длинные лапсердаки, женщины – уродливые парики, а своих детей, избегая правительственной начальной школы, отдавали в свои средневековые хедеры – школы, допускавшие власть, но не дававшие никаких прав по образованию. Редкая молодежь, проходившая курс в гимназиях, не оседала в городе, рассеиваясь в поисках более широких горизонтов.

¹⁷ Ныне город Бяла-Подляска в Люблинском воеводстве Польши.



Бела (Бяла-Подляска). Фотография. Начало XX в.

То специфическое отношение офицерства к местечковым евреям, которое имело еще место в шестидесятых-семидесятых годах и выражалось когда анекдотом, когда и дебошами, отошло уже в область преданий. Буянили еще изредка неуравновешенные натуры, но выходки их оканчивались негласно и прозаически: вознаграждением потерпевшим и командирской карой.

Связанный сотнями нитей с еврейским населением Бела в области хозяйственной, русский служилый элемент во всех прочих отношениях жил совершенно обособленно от него.

Однажды на почве этих отношений Бела потрясена была небывалым событием.

Немолодой уже подполковник нашей бригады Ш. влюбился в красивую и бедную еврейскую девушку. Взял ее к себе в дом и дал ей приличное домашнее образование. Так как они никогда не показывались вместе и внешние приличия были соблюдены, начальство не вмешивалось; молчала и еврейская община.

Но когда прошел слух, что девушка готовится принять лютеранство, мирная еврейская Бела пришла в необычайное волнение. Евреи не на шутку грозили убить ее. В отсутствие Ш. большая толпа их ворвалась однажды в его квартиру, но девушки там не нашли. В другой раз евреи в большом числе подкараулили Ш. на окраине города и напали на него. О том, что там произошло, обе стороны молчали; можно было только догадываться...

Мы были уверены, что, по офицерской традиции, несумевший защитить себя от оскорбления Ш. будет уволен в отставку. Но произведенное по распоряжению командующего войсками округа дознание окончилось для подполковника благополучно: он был переведен в другую бригаду и на перепутье, обойдя формальности и всякие препятствия, успел жениться.

Польское общество жило замкнуто и сторонилось русских. С мужскими представителями его мы встречались на нейтральной почве – в городском клубе или в ресторане, играли в карты и вместе выпивали, иногда вступали с ними в дружбу. Но домами не знакомились.

Польские дамы были более нетерпимыми, чем их мужья, и эту нетерпимость могло побороть только увлечение...

Наше офицерство в отношении польского элемента держало себя весьма тактично, и каких-либо столкновений на национальной почве у нас не бывало.

Русская интеллигенция Белы была немногочисленна и состояла исключительно из служилого элемента – военного и гражданского. В этом кругу сосредоточивались все наши внешние интересы: там «бывали», ссорились и мирились, дружили и расходились, ухаживали и женились.

Из года в год всё то же, всё то же. Одни и те же разговоры и шутки. Лишь два-три дома, где можно было не только повеселиться, но и поговорить на серьезные темы. Ни один лектор, ни одна порядочная труппа не забредала в нашу глушь. Словом, серенькая жизнь, маленькие интересы – «чеховские будни». Только деловые и бодрые, без уездных «гамлетов», без нытья и надрыва. Потому, вероятно, они не засасывали и вспоминаются теперь с доброй улыбкой.

В такой обстановке прошло с перерывами в общей сложности пять лет моей жизни.

Мои два товарища, одновременно со мной вышедшие в бригаду, сделали визиты всем в городе, как тогда острили, «у кого только был звонок у подъезда». И всюду бывали. Я же предпочитал общество своих молодых товарищей. Мы собирались поочередно друг у друга, по вечерам играли в «винт», умеренно пили и много пели.

Во время своих собраний молодежь разрешала попутно и все «мировые вопросы», весьма, впрочем, элементарно. Государственный строй был для офицерства фактом predetermined, не вызывающим ни сомнений, ни разнотолков. «За веру, царя и отечество». Отечество воспринималось горячо, как весь сложившийся комплекс бытия страны и народа, – без анализа, без достаточного знания его жизни. Офицерство не проявляло особенного любопытства к общественным и народным движениям и относилось с предубеждением не только к левой, но и к либеральной общественности. Левая отвечала враждебностью, либеральная – большим или меньшим отчуждением.

Когда я вышел в бригаду, ею правил генерал Сафонов – один из вымиравших типов старого времени: слишком добрый, слабый и несведущий, чтобы играть руководящую роль в бригадной жизни. Но то сердечное отношение, которое установилось между офицерством и бригадным, искупало его бездеятельность, заставляя всех работать за совесть, с бескорыстным желанием не подвести бригаду и добрейшего старика.

Немалое влияние на бригаду оказывал и тот боевой дух, который царил в Варшавском округе в период командования им героя русско-турецкой войны, генерала Гурко. И та любовь к своему специальному делу, которая была традицией артиллеристов и заслужила русской артиллерии высокое признание наших врагов и в японскую кампанию, и в Первую мировую войну, и даже, невзирая на умерщвление духа большевиками, во Вторую мировую...

Наконец, батареями у нас командовали две крупные личности – Гомолицкий и Амосов, по которым равнялось все и вся в бригаде. Их батареи были лучшими в артиллерийском сборе. Их любили, как лихих командиров и, одновременно, как товарищей-собутельников, вносящих смысл в работу и веселие в пиры. Особенно молодежь, находившая у них и совет, и заступничество.

Словом, в бригаде кипела работа, выделявшая ее среди других частей артиллерийского сбора.

Но на втором году моей службы генерал Сафонов умер. Доброго старика искренне пожалели. Никто, однако, не думал, что с его смертью так резко изменится судьба бригады.

Приехал новый командир, генерал Л.

Этот человек с первых же шагов употребил все усилия, чтобы восстановить против себя всех, кого судьба привела в подчинение ему. Человек, грубый по природе, Л., после

производства в генералы, стал еще более груб и невежлив со всеми – военными и штатскими. А к обер-офицерам относился так презрительно, что никому из нас не подавал руки.

Он совершенно не интересовался нашим бытом и службою, в батарее просто не заходил, кроме дней бригадных церемоний. При этом раз – на втором году командования – он заблудился среди казарменного расположения, заставив прождать около часа всю бригаду, собранную в конном строю.

Он замкнулся совершенно в канцелярию, откуда сыпались предписания, запросы – по форме резкие и ругательные, по содержанию – обличавшие в Л. не только отжившие взгляды, но и незнание им артиллерийского дела. Сыпались ни за что на офицеров и взыскания, даже аресты на гауптвахте, чего раньше в бригаде не бывало. Словом, сверху – грубость и произвол, снизу – озлобление и апатия.

И все в бригаде перевернулось.

Амосов ушел, получив бригаду, у Гомолицкого, которого Л. стал преследовать, опустились руки. Все, что было честного, дельного, на ком держалась бригада, замкнулось в себя. Началось явное разложение. Пьянство и азартный картеж, дразни и ссоры стали явлением обычным. Многие забыли дорогу в казармы. Трагическим предостережением прозвучали три выстрела, унесшие жизни молодых наших офицеров. Эти самоубийства имели, конечно, подкладку субъективную, но, несомненно, на них повлияла обстановка выбитой из колеи бригадной жизни.

Наконец, нависшие над бригадой тучи разразились громом, который разбудил заснувшее начальство.

В бригаде появился новый батарейный командир, подполковник З. – темная и грязная личность. Похождения его были таковы, что многие наши офицеры – факт в военном быту небывалый – не отдавали чести и не подавали руки штаб-офицеру своей части. Летом в лагерном собрании З. нанес тяжкое оскорбление всей бригаде. Тогда обер-офицеры решили собраться вместе и обсудить создавшееся положение.

Небольшими группами и поодиночке стали стекаться на берег реки Буга, на котором стоял наш лагерь, в глухое место. Я был тогда уже в Академии в Петербурге. Мне рассказывали потом участники об испытанном ими чувстве смущения в необычайной для военных людей роли «заговорщиков».

На собрании установили преступления З., и старший из присутствовавших, капитан Нечаев, взял на себя большую ответственность – подать рапорт по команде от лица всех обер-офицеров¹⁸. Рапорт дошел до начальника артиллерии корпуса, который положил резолюцию о немедленном увольнении в запас подполковника З.

Но вскоре отношение к нему начальства почему-то изменилось и мы в официальной газете прочли о переводе З. в другую бригаду. Тогда обер-офицеры, собравшись вновь, составили коллективный рапорт, снабженный 28-ю подписями, и направили его главе всей артиллерии, великому князю Михаилу Николаевичу, прося «дать удовлетворение их воинским и нравственным чувствам, глубоко и тяжело поруганным».

Гроза разразилась. Из Петербурга назначено было расследование, в результате которого начальник артиллерии корпуса и генерал Л. вскоре ушли в отставку; офицерам, подписавшим незаконный коллективный рапорт, объявлен был выговор, а З. был выгнан со службы.

С приездом нового командира, генерала Завацкого, как будет видно ниже, жизнь бригады скоро вошла в нормальную колею.

¹⁸ Всякое коллективное выступление считалось по военным законам преступлением. (Примеч. автора.)

* * *

Вследствие ряда причин и в русской армии существовала некоторая рознь между родами оружия – явление старое и свойственное всем армиям. Общими чертами ее были: гвардия глядела свысока на армию; кавалерия – на другие роды оружия; полевая артиллерия косилась на кавалерию и конную артиллерию и снисходила к пехоте; конная артиллерия сторонилась полевой и жалась к кавалерии; наконец, пехота глядела исподлобья на всех прочих и считала себя обойденной вниманием и власти, и общества.

Надо сказать, однако, что рознь эта была неглубока и существовала лишь в мирное время. С началом войны – так было и в японскую и в Первую мировую – она исчезала совершенно.

Наша бригада жила отлично с пехотой своей дивизии, но не входила в сношения ни с конной артиллерией, ни с конницей своего корпуса. Однажды отношения эти замутились, оставив за собой кровавый след и тяжелое воспоминание у всех, стоявших близко к событию.

В Брест-Литовске, в ресторане, произошло столкновение между нашим штабс-капитаном Славинским и двумя конно-артиллерийскими поручиками – Квашниным-Самариным и другим – на почве «неуважительных отзывов об их родах оружия». Славинский – человек храбрый и отличный стрелок – имел гражданское мужество не желать дуэли и принести извинение.

Готовы были помириться и его противники. Но командир конной батареи, подполковник Церпицкий, потребовал от обоих офицеров послать вызов Славинскому. Славинский, с разрешения бригадного суда чести¹⁹, принял вызов.

Условия дуэли установлены были сравнительно не тяжелые: на пистолетах, 25 шагов дистанции, по одному выстрелу – по команде.

Накануне вечером в нашем лагере, возле адъютантского барака собралось много офицеров, взволнованно обсуждавших событие; характерно, что пришли и из чужих бригад. Особенно возмущало всех то обстоятельство, что Церпицкий «для защиты чести своей батареи» выставил двух против одного... Наша молодежь всю ночь не спала. Не спали и солдаты той батареи, в которой служил Славинский. То же, говорят, происходило и в конной батарее.

Место для дуэли назначено было возле лагеря, на опушке леса. На рассвете, в четыре часа, мимо бригадного лагеря проскакала группа конных артиллеристов, потом все смолкло. Через некоторое время показался скачущий по направлению к конной батарее фейерверкер; он был послан, как оказалось, за лазаретной линейкой...

Славинский тяжело ранил Квашнина-Самарина в живот. От помощи бригадного врача и от нашей лазаретной линейки конно-артиллеристы отказались... Квашнин-Самарин, отвеженный в госпиталь, дня через два в тяжких мучениях умер.

Результаты первой дуэли произвели на всех присутствовавших тяжелое впечатление. Нервничали секунданты. Славинский мрачно курил одну папиросу за другой. Через своих секундантов он опять предложил второму дуэлянту принести ему извинение. Тот отказался. Через четверть часа – вторая дуэль, окончившаяся благополучно. Славинский стрелял в воздух.

Назначенное по делу следствие признало поведение Славинского джентльменским, а на подполковника Церпицкого были наложены начальством кары.

¹⁹ По закону, вопрос о допустимости дуэли в крупных частях, где были суды чести, разрешался ими. В малых частях – командиром. (Примеч. автора.)

Был на такой же почве и другой случай – без кровавого исхода, но имевший последствия исторические.



Офицеры 2-й артиллерийской бригады.
*Третий слева в верхнем ряду – поручик Антон Деникин.
Фотография. Середина 1890-х гг.*

Однажды, когда бригада шла походом через Седлец²⁰, где квартировал Нарвский гусарский полк, между нашим подпоручиком Катанским – человеком порядочным и хорошо образованным, но буйного нрава, и гусарским корнетом поляком Карницким, исключительно на почве корпоративной розни, возникло столкновение: Катанский оскорбил Карницкого.

Секунданты заседали всю ночь. Пришлось и мне, как «старшему подпоручику», потратить много времени и уговоров, чтобы предотвратить кровавую, быть может, развязку... Только на рассвете, когда трубачи играли в сонном городе «Поход» и бригаде пора было двигаться дальше, дело закончилось примирением.

Закончилось, но не совсем... В Нарвском гусарском полку сочли, что примирение не соответствовало нанесенному Карницкому оскорблению. Возник вопрос о возможности для него оставаться в полку... По этому поводу к нам в Белу приехала делегация суда чести Нарвского полка, для выяснения дела. Переговорив между собою, мы с товарищами условились представить инцидент в возможно благоприятном для Карницкого свете. В результате он был оправдан судом чести и оставлен на службе.

Мистические нити опутывают людей и события...

²⁰ Ныне город Седльце в Мазовецком воеводстве Польши.

Через четверть века судьба столкнула меня с бывшим корнетом в непредвиденных ролях: я – главнокомандующий и правитель – Юга России, он – генерал Карницкий – посланец нового Польского государства, прибывший ко мне в Таганрог в 1919 году для разрешения вопроса о кооперации моих и польских армий на противобольшевистском фронте.

Вспомнил? Или забыл? Не знаю: о прошлом мы не говорили. Но Карницкий в донесениях своему правительству употребил все усилия, чтобы представить в самом темном и ложном свете белые русские армии, нашу политику и наше отношение к возрождавшейся Польше. И тем внес свою лепту в предательство Вооруженных сил Юга России Пилсудским, заключившим тогда тайно от меня и союзных западных держав соглашение с большевиками²¹.

Невольно приходит в голову мысль: как сложились бы обстоятельства, если бы я тогда в Беле не старался реабилитировать честь корнета Карницкого?!

* * *

Киевское училище, выпуская нескольких своих воспитанников в артиллерию, не дало нам соответствующей подготовки. Нас, шесть юнкеров, посылали в соседнюю с училищным лагерем батарею для артиллерийского обучения ровным счетом шесть раз. Поэтому в первый год службы пришлось много работать, чтобы войти в курс дела.

Положение облегчалось тем, что вначале мне поручили не артиллерийскую специальность, а батарейную школу. К началу первого лагерного сбора я имел уже достаточную подготовку, а потом был даже назначен учителем бригадной учебной команды (подготовка унтер-офицеров – «сержантов»).

При генерале Л. мне пришлось прослужить около года. Непосредственно столкновений с ним я не имел, да и разговаривать с ним почти не приходилось. Наша молодая компания в своем кругу бурно и резко осуждала эксцессы Л. и выражала свое отношение к нему единственно возможным способом: демонстративным отказом от его приглашений на пасхальные розговены или на какой-либо семейный праздник.

Так или иначе, первые два года офицерской жизни прошли весело и беззаботно. На третий год я и три моих сверстника «отрешились от мира» и сели за науки – для подготовки к экзамену в Академию Генерального штаба. С тех пор для меня лично мир замкнулся в тесных рамках батареи и учебников. Надо было повторить весь курс военных наук военного училища и, кроме того, изучить по расширенной программе ряд общеобразовательных предметов: языки, математику, историю, географию...

Нигде больше не бывал. Избегал и пирушек у товарищей. Начиналось настоящее подвижничество, академическая страда в годы, когда жизнь только еще раскрывалась и манила своими соблазнами.



В Академии Генерального штаба

Мытарства поступающих в Академию Генерального штаба начинались с проверочных экзаменов при окружных штабах. Просеивание этих контингентов выражалось такими при-

²¹ Об этом – будет впереди. (Примеч. автора.)

близительно цифрами: держало экзамен при округах 1500 офицеров; на экзамен в Академию допускалось 400—500; поступало 140—150; на третий курс (последний) переходило 100; из них причислялось к Генеральному штабу 50. То есть после отсеивания оставалось всего 3,3%.

Выдержав благополучно конкурсный экзамен, осенью 1895 года я поступил в Академию.

Академическое обучение продолжалось три года. Первые два – слушание лекций, третий год – самостоятельные работы в различных областях военного дела – защита трех диссертаций, достававшихся по жребию. Теоретический курс был очень велик и, кроме большого числа военных предметов, перегружен и общеобразовательными, один перечень которых производит внушительное впечатление: языки, история с основами международного права, славистика, государственное право, геология, высшая геодезия, астрономия и сферическая геометрия.

Этот курс, по соображениям государственной экономии, втиснутый в двухгодичный срок, был едва посилен для обыкновенных способностей человеческих.

Академия в мое время, то есть в конце девяностых годов, переживала кризис.

От 1889 до 1899 года во главе Академии стоял генерал Леер, пользовавшийся заслуженной мировой известностью в области стратегии и философии войны. Его учение о вечных неизменных основах военного искусства, одинаково присущих эпохам Цезаря, Ганнибала, Наполеона и современной, лежало в основе всего академического образования и проводилось последовательно и педантично со всех военных кафедр.

Но постепенно и незаметно неподвижность мудрых догм из области идей переходила в сферу практического их воплощения. Старился учитель – Лееру было тогда около 80 лет, старились и приемы военного искусства, насаждаемые Академией, отставали от жизни.

Вооруженные народы сменили регулярные армии, и это обстоятельство предрекало резкие перемены в будущей тактике масс. Бурно врывалась в старые схемы новая, не испытанная еще данная – скорострельная артиллерия... Давала трещины идея современного учения о крепостной обороне страны... Вне академических стен военная печать в горячих спорах искала истины.... Но все это движение находило недостаточный отклик в Академии, заставшей в строгом и важном покое.

Мы изучали военную историю с древнейших времен, но не было у нас курса по последней Русско-турецкой войне 1877—1878 годов. Последнее обстоятельство интересно как показатель тогдашних нравов военных верхов. Как это ни странно, русская военная наука около 30 лет после окончания этой войны не имела документальной ее истории, хотя в недрах Главного штаба и существовала много лет соответственная историческая комиссия. Причины такой странной медлительности обнаружились наконец. В 1897 году, по желанию государя, поручено было лектору Академии, подполковнику Мартынову, по материалам комиссии, прочесть стратегический очерк кампании в присутствии старейшего генералитета – с целью выяснения: «Возможно ли появление в печати истории войны при жизни видных ее участников».



Николаевская академия Генерального штаба.
Фотография. Начало XX в.

Слушателям Академии разрешено было присутствовать на этих сообщениях, состоявшихся в одной из наших аудиторий. На меня произвели они большое впечатление ярким изображением доблести войск, талантов некоторых полководцев и вместе с тем плохого общего ведения войны, хотя и победоносной. Должно быть, сильно задета была высоко-сановная часть аудитории (присутствовал и бывший главнокомандующий на Кавказском театре войны великий князь Михаил Николаевич), так как перед одним из докладов Мартынов обратился к присутствовавшим с такими словами:

– Мне сообщили, что некоторые из участников минувшей кампании выражают крайнее неудовлетворение по поводу моих сообщений. Я покорнейше прошу этих лиц высказаться. Каждое слово свое я готов подтвердить документами, зачастую собственноручными, тех лиц, которые выражали претензию.

Не отозвался никто. Но, видимо, вопрос, поставленный государем, разрешился отрицательно, так как выпуск истории был опять отложен. Издана она была только в 1905 году.

Говоря об отрицательных сторонах Академии, я должен, однако, сказать по совести, что вынес все же из стен ее чувство искренней признательности к нашей *alma mater*, невзирая на все ее недочеты, на все мои мытарства, о которых речь впереди. Загромождавая нередко курсы несущественным и ненужным, отставая подчас от жизни в прикладном искусстве, она все же расширяла неизмеримо кругозор наш, давала метод, критерий к познанию военного дела, вооружала весьма серьезно тех, кто хотел продолжать работать и учиться в жизни. Ибо главный учитель все-таки жизнь.

Трижды менялся взгляд на Академию – то как на специальную школу комплектования Генерального штаба, то, одновременно, как на военный университет. Из Академии стали выпускать вдвое больше офицеров, чем требовалось для Генерального штаба, причем не причисленные к нему возвращались в свои части «для поднятия военного образования в армии».

Из «военного университета», однако, ничего не вышло. Для непривилегированного офицерства иначе, как через узкие ворота «генерального штаба», выйти на широкую дорогу военной карьеры в мирное время было почти невозможно. Достаточно сказать, что ко времени Первой мировой войны высшие командные должности занимало подавляющее число лиц, вышедших из Генерального штаба: 25% полковых командиров, 68—77% начальников пехотных и кавалерийских дивизий, 62% корпусных командиров...

А академисты второй категории, не попавшие в Генеральный штаб, быть может, благодаря только нехватке какой-нибудь маленькой дроби в выпускном балле, возвращались в строй с подавленной психикой, с печатью неудачника в глазах строевых офицеров и с совершенно туманными перспективами будущего.

Это обстоятельство, недостаточность содержания в петербургских условиях (81 рубль в месяц), наконец, конкурс, свирепствовавший в академической жизни, придавали ей характер подлинной борьбы за существование.

В академические годы мне пришлось впервые и потом неоднократно видеть императора Николая II и его семью — в различной обстановке.

Открытие офицерского «Собрания гвардии, армии и флота», заложенного повелением императора Александра III... Громадный зал переполнен. Присутствует император Николай II, великие князья, высший генералитет и много рядового офицерства... На кафедре — наш профессор, полковник Золотарев, речь которого посвящена царствованию основателя Собрания. Пока Золотарев говорил о внутренней политике Александра III, как известно, весьма консервативной, зал слушал в напряженном молчании.

Но вот лектор перешел к внешней политике. Очертив в резкой форме «унизительную для русского достоинства, крайне вредную и убыточную для интересов России прусскую политику предшественников Александра III», Золотарев поставил в большую заслугу последнему установление лозунга «Россия для русских», отказ от всех обязательств в отношении Гогенцоллернов и возвращение себе свободы действий по отношению к другим западным державам...

И вот первые ряды зашевелились. Послышался глухой шепот неодобрения, задвигались демонстративно стулья, на лицах появились саркастические улыбки, и вообще высшие сановники всеми способами проявляли свое негодование по адресу докладчика.

Я был удивлен — и таким ярким германофильством среди сановной знати, и тем, как она держала себя в присутствии государя.

Когда Золотарев кончил, государь подошел к нему и в теплых выражениях поблагодарил за «беспристрастную и правдивую характеристику» деятельности его отца...

В Зимнем дворце давались периодически балы в тесном кругу высшей родовой и служебной знати. Но первый бал — открытие сезона — был более доступен. На нем бывало тысячи полторы гостей. Гофмаршальская часть, между прочим, рассылала приглашения для офицеров Петербургского гарнизона и в военные Академии. Академия Генерального штаба получила 20 приглашений, одно из которых досталось на мою долю. Я и двое моих друзей держались вместе.

На нас — провинциалов — вся обстановка бала произвела впечатление невиданной феерии по грандиозности и импозантности зала, по блеску военных и гражданских форм и дамских костюмов, по всему своеобразию придворного ритуала. И вместе с тем в публике, не исключая нас, как-то не чувствовалось никакого стеснения ни от ритуала, ни от неравенства положений.

Придворные чины, быстро скользя по паркету, привычными жестами очистили в середине грандиозного зала обширный круг, раздвинулись портьеры, и из соседней гостиной под звуки полонеза вышли попарно государь, государыня и члены царской семьи, обходя живую стену круга и приветливо кивая гостям. Затем государь с государыней уселись в соседней

открытой гостиной, наблюдая за танцами и беседуя с приглашенными в гостиную лицами. Танцы шли внутри круга, причем по придворному этикету все гости стояли, так как стулья в зале отсутствовали.

Нас не особенно интересовали танцы. Пододвинувшись к гостиной, мы с любопытством наблюдали, что там происходит. Интересен был не только придворный быт, но и подбор собеседников. Мы знали, что если, например, посол одной державы приглашен для беседы, а другой – нет или один приглашен раньше другого, то это знаменует нюансы внешней политики; что приглашение министра, о ненадежности положения которого ходили тогда упорные слухи, свидетельствует об его реабилитации, и т. д.

А в промежутках между своими наблюдениями мы отдавали посильную дань царскому шампанскому, переходя от одного «прохладительного буфета» к другому. В то время при дворе пили шампанское французских марок. Но вскоре, по инициативе императора Николая, пошло в ход отечественное «Абрау-Дюрсо» (виноградники возле Новороссийска), которое было ничуть не хуже французских. И мода эта пошла по всей России, в большой ущерб французскому экспорту.

После танцев все приглашенные перешли в верхний этаж, где в ряде зал был сервирован ужин. За царским столом и в соседней зале рассаживались по особому списку, за всеми прочими – свободно, без чинов. Перед окончанием ужина, во время кофе, государь проходил по анфиладе зал, останавливаясь иногда перед столиками и беседуя с кем-либо из присутствовавших.

Меня удивила доступность Зимнего дворца. При нашем входе во дворец нас пропустила охрана, даже не прочитав нашего удостоверения, чего я несколько опасался. Ибо случился со мной такой казус: одеваясь дома, в последний момент я заметил, что мои эполеты недостаточно свежи, и у своего соседа-артиллериста занял новые его эполеты, второпях не обратив внимания, что номер на них другой (мой был – 2)... Еще более доступен бывал Зимний дворец ежегодно, 26 ноября, в день орденского праздника св. Георгия²², когда приглашались на молебен и к царскому завтраку все находившиеся в Петербурге кавалеры ордена.

Во дворце состоялся «Высочайший выход». Я бывал на этих «выходах». Среди шпалер массы офицерства из внутренних покоев в дворцовую церковь проходила процессия из ветеранов Севастопольской кампании, Турецкой войны, Кавказских и Туркестанских походов – история России в лицах, свидетели ее боевой славы... В конце процессии шли государь и обе государыни²³, проходя в трех-четыре шагах от наших шпалер.

На эти «высочайшие выходы» имели доступ все офицеры. Но никогда не бывало во время них какого-либо несчастного случая. Очевидно, к этим легким для покушения путям боевые революционные элементы не имели никакого доступа.

Действительно, после восстания декабристов (1825) был только один случай (в середине 1880-х годов) более или менее значительного участия офицеров в заговоре против режима (дело Рыкачева); позднее прикосновенность офицерства к революционным течениям была единичной и несерьезной.

В мое время в Академии, как и в армии, не видно было интереса к активной политической работе. Мне никогда не приходилось слышать о существовании в Академии политических кружков или об участии слушателей ее в конспиративных организациях. Задолго до нашего выпуска, еще в дни дела Рыкачева, тогдашний начальник Академии, генерал Драгомиров, беседуя по этому поводу с академиками, сказал им:

²² Высшее боевое отличие. (Примеч. автора.)

²³ Александра Федоровна и вдовствующая императрица. (Примеч. автора.)

– Я с вами говорю, как с людьми, обязанными иметь свои собственные убеждения. Вы можете поступать в какие угодно политические партии. Но прежде чем поступить, снимите мундир. Нельзя одновременно служить своему царю и его врагам.

Этой традиции, без сомнения, придерживались и позднейшие поколения академистов.

* * *

Некоторые академические курсы, серьезное чтение, общение с петербургской интеллигенцией разных толков значительно расширили мой кругозор. Познакомился я случайно и с подпольными изданиями, носившими почему-то условное название «литературы», главным образом пропагандистскими, на которых воспитывались широкие круги нашей университетской молодежи. Сколько искреннего чувства, подлинного горения влила молодежь в ту свою работу!.. И сколько молодых жизней, многообещающих талантов исковеркало подполье!

Приходят однажды ко мне две знакомые курсистки и в большом волнении говорят:

– Ради Бога, помогите! У нас ожидается обыск. Нельзя ли спрятать у вас на несколько дней «литературу»?..

– Извольте, но с условием, что я лично все пересмотрю.

– Пожалуйста!

В тот же вечер они притащили ко мне три объемистых чемодана. Я познакомился с этой нежизненной, начетнической «литературой», которая составляла во многих случаях духовную пищу передовой молодежи. Думаю, что теперь дожившим до наших дней составителям и распространителям ее было бы даже неловко перечитать ее. Лозунг – разрушение, ничего созидательного, и злоба, ненависть – без конца.

Тогдашняя власть давала достаточно поводов для ее обличения и осуждения, но «литература» оперировала часто и заведомой неправдой. В рабочем и крестьянском вопросе – демагогия, игра на низменных страстях, без учета государственных интересов. В области военной – непонимание существа армии, как государственно-охранительного начала, удивительное незнание ее быта и взаимоотношений.

Да что говорить про анонимные воззвания, когда бывший офицер, автор «Севастопольских рассказов» и «Войны и мира», яснополянский философ Лев Толстой сам писал брошюры²⁴, призывавшие армию к бунту и поучавшие: «Офицеры – убийцы... Правительства со своими податями, с солдатами, острогами, виселицами и обманщиками-жрецами – суть величайшие враги христианства».

Такое же отрицательное впечатление производило на меня позже чтение нелегальных журналов, издававшихся за границей и проникавших в Россию: «Освобождение» Струве²⁵ – органа, который имел целью борьбу за конституцию, но участвовал в подготовке первой революции (1905 года); «Красного знамени» Амфитеатрова²⁶, в особенности – за его грубейшую демагогию. В этом последнем журнале можно было прочесть такое откровение: «Первое, что должна будет сделать победоносная социалистическая революция, это, опираясь на крестьянскую и рабочую массу, объявить и сделать военное сословие упраздненным»...

Какую участь старалась подготовить России «революционная демократия» перед лицом надвигавшейся, вооруженной до зубов пангерманской и паназиатской (японской) экс-

²⁴ «Письмо к фельдфебелю», «Солдатская памятка», «Не убий»... (Примеч. автора.)

²⁵ Петр Бернгардович Струве (1870—1944) – общественный и политический деятель, историк, экономист, философ.

²⁶ Александр Валентинович Амфитеатров (1862—1938) – писатель, известный литературный и театральный критик, издатель.

пансии? Что же касается «социалистической революции» и «военного сословия», то история уже показала нам, как это бывает...

В академические годы сложилось мое политическое мировоззрение. Я никогда не сочувствовал ни «народничеству» (преемники его социал-революционеры) – с его террором и ставкой на крестьянский бунт, ни марксизму – с его превалированием материалистических ценностей над духовными и уничтожением человеческой личности. Я принял российский либерализм в его идеологической сущности, без какого-либо партийного догматизма. В широком обобщении это приятие приводило меня к трем положениям:

- 1) конституционная монархия;
- 2) радикальные реформы и;
- 3) мирные пути обновления страны.

Это мировоззрение я донес нерушимо до революции 1917 года, не принимая активного участия в политике и отдавая все свои силы и труд армии.

* * *

Первый год академического учения окончился для меня печально. Экзамен по истории военного искусства сдал благополучно у профессора Гейсмана и перешел к Баскакову. Досталось Ваграмское сражение. Прослушав некоторое время, Баскаков прервал меня:

– Начните с положения сторон ровно в 12 часов.

Мне казалось, что в этот час никакого перелома не было. Стал сбиваться. Как я ни подходил к событиям, момент не удовлетворял Баскакова, и он раздраженно повторял:

– Ровно в 12 часов.

Наконец, глядя, как всегда, бесстрастно-презрительно, как-то поверх собеседника, он сказал:

– Быть может, вам еще с час подумать нужно?

– Совершенно излишне, господин полковник.

По окончании экзамена комиссия совещалась очень долго. Томление... Наконец, выходит Гейсман со списком, читает отметки и в заключение говорит:

– Кроме того, комиссия имела суждение относительно поручиков Иванова и Деникина и решила обоим прибавить по полбалла. Таким образом, поручику Иванову поставлено 7, а поручику Деникину 6½.

Оценка знания – дело профессорской совести, но такая «прибавка» была лишь злым издевательством: для перевода на второй курс требовалось не менее 7 баллов. Я покраснел и доложил:

– Покорнейше благодарю комиссию за щедрость.

Провал. На второй год в Академии не оставляли, и, следовательно, предстояло исключение.

Забегу вперед.

Через несколько лет я получил реванш. Война с Японией... 1905 год... Начало Мукденского сражения... Генерал Мищенко лечится от ран, а для временного командования его Конным отрядом прислан генерал Греков и при нем начальником штаба – профессор, полковник Баскаков... Я был в то время начальником штаба одной из мищенковских дивизий. Мы уже повоевали немножко и приобрели некоторый опыт. Баскаков – новичок в бою и, видимо, теряется. Приезжает на мой наблюдательный пункт и спрашивает:

– Как вы думаете, что означает это движение японцев?

– Ясно, что это начало общего наступления и охвата правого фланга наших армий.

– Я с вами вполне согласен.

Еще три-четыре раза приезжал Баскаков осведомиться, «как я думаю», пока не попал у нас под хороший пулеметный огонь, после чего визиты его прекратились.

Должен сознаться в человеческой слабости: мне доставили удовлетворение эти встречи, как отплата за «12-й час» Ваграма и за прибавку полбалла...

Итак, провал. Возвращаться в бригаду после такого афронта не хотелось. Отчаяние и поиски выхода: отставка, перевод в Заамурский округ пограничной стражи, инструктором в Персию?

В конце концов, принял наиболее благоразумное решение – начать все сначала. Вернулся в бригаду и через три месяца держал экзамен вновь на первый курс; выдержал хорошо (14-м из 150-ти)²⁷ и окончил Академию... можно бы сказать благополучно, если бы не эпизод, о котором идет речь в следующей главе.



Академический выпуск

Военный министр Куропаткин решил произвести перемены в Академии. Генерал Леер был уволен, а начальником Академии назначен бывший профессор и личный друг Куропаткина генерал Сухотин. Назначение это оказалось весьма неудачным.

Я не буду углубляться в специальный круг научной академической жизни. Буду краток. По характеру своему человек властный и грубый, генерал Сухотин внес в жизнь Академии сумбурное начало. Понося гласно и резко и самого Леера, и его школу, и его выучеников, сам он не приблизил нисколько преподавание к жизни. Ломал, но не строил. Его краткое – около трех лет – управление Академией было наиболее сумеречным ее периодом.

Весною 1899 года последний наш «лееровский» выпуск заканчивал третий курс при Сухотине. На основании закона были составлены и опубликованы списки окончивших курс по старшинству баллов. Окончательным считался средний балл из двух: 1) среднего за теоретический двухлетний курс и 2) среднего за три диссертации.

Около 50 офицеров, среди которых был я, тогда штабс-капитан артиллерии, причислялись к корпусу Генерального штаба; остальным, также около 50-ти, предстояло вернуться в свои части. Нас, причисленных, пригласили в Академию, от имени Сухотина поздравили с причислением, после чего начались практические занятия по службе Генерального штаба, длившиеся две недели.

Мы ликвидировали свои дела, связанные с Петербургом, и готовились к отъезду в ближайшие дни.

Но вот однажды, придя в Академию, мы были поражены новостью. Список офицеров, предназначенных в Генеральный штаб, был снят, и на место его вывешен другой, на совершенно других началах, чем было установлено в законе. Подсчет окончательного балла был сделан как средний из четырех элементов: среднего за двухгодичный курс и каждого в отдельности за три диссертации. Благодаря этому в списке произошла полная перетасовка, а несколько офицеров попали за черту и были заменены другими.

Вся Академия волновалась. Я лично удержался в новом списке, но на душе было неспокойно.

²⁷ Много помогли мне для конкурса высокие баллы по двум предметам: по математике – 11½ и за русское сочинение – 12. (Примеч. автора.)

Предчувствие оправдалось. Прошло еще несколько дней, и второй список был также отменен. При новом подсчете старшинства был введен отдельным пятым коэффициентом – балл за «полевые поездки», уже раз входивший в подсчет баллов. Новый – третий список, новая перетасовка и новые жертвы – лишенные прав, попавшие за черту офицеры...

Новый коэффициент имел сомнительную ценность. Полевые поездки совершались в конце второго года обучения. В судьбе некоторых офицеров балл за поездки, как последний, являлся решающим. По традиции, на прощальном обеде партия, если в рядах ее был офицер, которому не хватало «дробей» для обязательного переходного балла на третий курс (10), обращалась к руководителю с просьбой о повышении оценки этого офицера. Просьба почти всегда удовлетворялась, и офицер получал высший балл, носивший у нас название «благотворительного».

При просмотре третьего списка оказалось, что четыре офицера, получивших некогда такой «благотворительный» балл (12), попали в число избранных, и столько же состоявших в законном списке было лишено прав²⁸.

В числе последних был и я. Казалось, все кончено...

Еще через несколько дней академическое начальство, сделав вновь изменения в подсчете баллов, объявило четвертый список, который оказался окончательным. И в этот список не вошел я и еще три офицера, лишенные таким образом прав.

²⁸ У меня в нормальном порядке был балл – 11. (Примеч. автора.)



Выпуск Николаевской академии Генерального штаба.
Фотография. Начало XX в.

* * *

Кулуары и буфет Академии, где собирались выпускные, представляли в те дни зрелище необычайное. Истомленные работой, с издерганными нервами, неуверенные в завтрашнем дне, они взволнованно обсуждали стряшущую над нами беду. Злая воля играла нашей судьбой, смеясь и над законом, и над человеческим достоинством.

Вскоре было установлено, что Сухотин, помимо конференции и без ведома Главного штаба, которому была подчинена тогда Академия, ездит запросто к военному министру с докладами об «академических реформах» и привозит их обратно с надписью «согласен».

Несколько раз сходились мы – четверо выброшенных за борт, чтобы обсудить свое положение. Обращение к академическому начальству ни к чему не привело. Один из нас

попытался попасть на прием к военному министру, но его, без разрешения академического начальства, не пустили. Другой, будучи лично знаком с начальником канцелярии Военного министерства, заслуженным профессором Академии, генералом Ридигером, явился к нему. Ридигер знал все, но помочь не мог:

– Ни я, ни начальник Главного штаба ничего сделать не можем. Это осиное гнездо опутало совсем военного министра. Я изнервничался, болен и уезжаю в отпуск.

На мой взгляд, оставалось только одно – прибегнуть к средству законному и предусмотренному Дисциплинарным уставом: к жалобе. Так как нарушение наших прав произошло по резолюции военного министра, то жалобу надлежало подать его прямому начальнику, т. е. государю. Предложил товарищам по несчастью, но они уклонились.

Я подал жалобу на Высочайшее имя.

В военном быту, проникнутом насквозь идеей подчинения, такое восхождение к самому верху иерархической лестницы являлось фактом небывалым. Признаюсь, не без волнения опускал я конверт с жалобой в ящик, подвешенный к внушительному зданию, где помещалась «Канцелярия прошений, на Высочайшее имя подаваемых».

* * *

Итак, жребий брошен.

Эпизод этот произвел впечатление не в одной только Академии, но и в высших бюрократических кругах Петербурга. Главный штаб, канцелярия Военного министерства и профессура посмотрели на него, как на одно из средств борьбы с Сухотиным. Казалось, что такой скандал не мог для него пройти бесследно... Борьба шла наверху, а судьба маленького офицера вклинилась в нее невольно и случайно, подвергаясь тем большим ударам со стороны всесильной власти.

Начались мои мытарства.

Не проходило дня, чтобы не требовали меня в Академию на допрос, чинимый в пристрастной и резкой форме. Казалось, что вызывали меня нарочно на какое-нибудь неосторожное слово или действие, чтобы отчислить от Академии и тем покончить со всей неприятной историей. Меня обвиняли и грозили судом за совершенно нелепое и нигде законом не предусмотренное «преступление»: за подачу жалобы без разрешения того лица, на которое жалуешься.

Военный министр, узнав о принесенной жалобе, приказал собрать академическую конференцию для обсуждения этого дела. Конференция вынесла решение, что «оценка знаний выпускных, введенная начальником Академии, в отношении уже окончивших курс незаконна и несправедлива, в отношении же будущих выпусков нежелательна».

В ближайший день получаю снова записку – прибыть в Академию. Приглашены были и три моих товарища по несчастью. Встретил нас заведующий нашим курсом полковник Мошнин и заявил:

– Ну, господа, поздравляю вас: военный министр согласен дать вам вакансии в Генеральный штаб. Только вы, штабс-капитан, возьмете обратно свою жалобу, и все вы, господа, подадите ходатайство, этак, знаете, пожалостливее. В таком роде: прав, мол, мы не имеем никаких, но, принимая во внимание потраченные годы и понесенные труды, просим начальной милости.

Теперь я думаю, что Мошнин добивался собственноручного нашего заявления, устанавливающего «ложность жалобы». Но тогда я не разбирался в его мотивах. Кровь бросилась в голову.

– Я милости не прошу. Добиваюсь только того, что мне принадлежит по праву.

– В таком случае нам с вами разговаривать не о чем. Предупреждаю вас, что вы окончите плохо. Пойдемте, господа.

Широко расставив руки и придерживая за талию трех моих товарищей, повел их наверх в пустую аудиторию; дал бумагу и усадил за стол. Написали.

После разговора с Мошным стало еще тяжелее на душе и еще более усилились притеснения начальства. Мошнин прямо заявил слушателям Академии:

– Дело Деникина предрешено: он будет исключен со службы.

* * *

Чтобы умерить усердие академического начальства, я решил пойти на прием к директору Канцелярии прошений – попросить об ускорении запроса военному министру. Я рассчитывал, что после этого дело перейдет в другую инстанцию и меня перестанут терзать.

В приемной было много народа, преимущественно вдов и отставных служилых людей – с печатью горя и нужды; людей, прибегающих в это последнее убежище в поисках правды моральной, заглушенной правдой и кривдой официальной... Среди них был какой-то артиллерийский капитан. Он нервно беседовал о чем-то с дежурным чиновником, повергнув того в смущение; потом подсел ко мне.

Его блуждающие глаза и бессвязная речь обличали ясно душевнобольного. Близко нагнувшись, он взволнованным шепотом рассказывал о том, что является обладателем важной государственной тайны; высокопоставленные лица – он называл имена – знают это и всячески стараются выпытать ее; преследуют, мучат его. Но теперь он все доведет до царя... Я с облегчением простился со своим собеседником, когда подошла моя очередь.

Меня удивила обстановка приема: директор стоял сбоку, у одного конца длинного письменного стола, мне указал на противоположный; в полуотворенной двери виднелась фигура курьера, подозрительно следившего за моими движениями. Директор стал задавать мне какие-то странные вопросы... Одно из двух: или меня приняли за того странного капитана, или вообще за офицера, дерзнувшего принести жалобу на военного министра, смотрят как на сумасшедшего. Я решил объясниться:

– Простите, ваше превосходительство, но мне кажется, что здесь происходит недоразумение. На приеме у вас сегодня два артиллериста. Один, по-видимому, ненормальный, а перед вами – нормальный.

Директор засмеялся, сел в свое кресло, усадил меня; дверь закрылась, и курьер исчез.

Выслушав внимательно мой рассказ, директор высказал предположение, что закон нарушен, чтобы «протащить в Генеральный штаб каких-либо маменькиных сынков». Я отрицал: четыре офицера, неожиданно попавшие в список, сами чувствовали смущение немалое. Впрочем, может быть, он был и прав – ходили и такие слухи в Академии.

– Чем же я могу помочь вам?

– Я прошу только об одном: сделайте как можно скорее запрос военному министру.

– Обычно у нас это довольно длительная процедура, но я обещаю вам в течение двух-трех дней исполнить вашу просьбу.

Так как Мошнин грозил увольнением меня от службы, я обратился в Главное артиллерийское управление, к генералу Альтфатеру, который заверил меня, что в рядах артиллерии я останусь во всяком случае. Обещал доложить обо всем главе артиллерии, великому князю Михаилу Николаевичу.

Запрос Канцелярии прошений военному министру возымел действие. Академия оставила меня в покое, и дело перешло в Главный штаб. Для производства следствия над моим «преступлением» назначен был пользовавшийся в Генеральном штабе большим уважением

генерал Мальцев. Вообще в Главном штабе я встретил весьма внимательное отношение и поэтому был хорошо осведомлен о закулисных перипетиях моего дела.

Я узнал, что генерал Мальцев в докладе своем стал на ту точку зрения, что выпуск из Академии произведен незаконно и что в действиях моих нет состава преступления. Что к составлению ответа Канцелярии прошений привлечены юрисконсульты Главного штаба и Военного министерства, но работы их не удовлетворяют Куропаткина, который порвал уже два проекта ответа, сказав раздражительно:

– И в этой редакции сквозит между строк, будто я не прав.

Так шли неделя за неделей... Давно уже прошел обычный срок для выпуска из военных Академий; исчерпаны были кредиты и прекращена выдача академистам добавочного жалованья и квартирных денег по Петербургу. Многие офицеры бедствовали, в особенности семейные. Начальники других Академий настойчиво добивались у Сухотина, когда же, наконец, разрешится инцидент, задерживающий представление выпускных офицеров четырех Академий²⁹ государю императору...

Наконец, ответ военного министра в Канцелярию прошений был составлен и послан; испрошен был день Высочайшего приема; состоялся Высочайший приказ о производстве выпускных офицеров в следующие чины «за отличные успехи в науках». К большому своему удивлению, я прочел в нем и о своем производстве в капитаны.

По установившемуся обычаю, за день до представления государю в одной из академических зал выпускные офицеры представлялись военному министру. Генерал Куропаткин обходил нас, здороваясь, и с каждым имел краткий разговор. Подойдя ко мне, он вздохнул глубоко и прерывающимся голосом сказал:

– А с вами, капитан, мне говорить трудно. Скажу только одно: вы сделали такой шаг, который не одобряют все ваши товарищи.

Я не ответил ничего.

Военный министр был плохо осведомлен. Он не знал, с каким трогательным вниманием и сочувствием отнеслись офицеры к опальному капитану. Не знал, что в том году впервые за существование Академии состоялся общий обед выпускных, на котором в резких и бурных формах вылился протест против академического режима и нового начальства.

Я молчал и ждал.

²⁹ Генерального штаба, Артиллерийская, Инженерная и Юридическая. (Примеч. автора.)



Залы для практических занятий Николаевской академии
Генерального штаба. Фотографии. Начало XX в.



* * *

Особый поезд был подан для выпускных офицеров четырех академий и начальствующих лиц. Еще на вокзале я несколько раз ловил на себе испытующие и враждебные взгляды академического начальства. Со мной они не заговаривали, но на лицах их видно было явное беспокойство: не вышло бы какого-нибудь «скандала» на торжественном приеме...

Во дворце нас построили в одну линию вдоль анфилады зал – в порядке последнего незаконного списка старшинства. По прибытии Куропаткина и после разговора его с Сухотиным полковник Мошнин подошел к нам, извлек из рядов ниже меня стоявших трех товарищей по несчастью и переставил их выше – в число назначенных в Генеральный штаб. Отделил нас интервалом в два шага... Я оказался на правом фланге офицеров, не удостоенных причисления.

Все ясно.

Генерал Альтфатер, как оказалось, исполнил свое обещание. Присутствовавший на приеме великий князь Михаил Николаевич подошел ко мне перед приемом и, выразив сочувствие, сказал, что он доложил государю во всех подробностях мое дело.

Ждали долго. Наконец, по рядам раздалась тихая команда:

– Господа офицеры!

Вытянулся и замер дворцовый арап, стоявший у двери, откуда ожидалось появление императора. Генерал Куропаткин, стоявший против нее, низко склонил голову.

Вошел государь. По природе своей человек застенчивый, он, по-видимому, испытывал немалое смущение во время такого большого приема – нескольких сот офицеров, каждому из которых предстояло задать несколько вопросов, сказать что-либо приветливое. Это чувствовалось по его добрым, словно тоскующим глазам, по томительным паузам в разговоре и по нервному подергиванию аксельбантом.

Подошел, наконец, ко мне. Я почувствовал на себе со стороны чьи-то тяжелые, давящие взоры... Скользнул взглядом: Куропаткин, Сухотин, Мошнин – все смотрели на меня сумрачно и тревожно. Я назвал свой чин и фамилию. Раздался голос государя:

– Ну, а вы как думаете устроиться?

– Не знаю. Жду решения вашего императорского величества.

Государь повернулся вполоборота и вопросительно взглянул на военного министра. Генерал Куропаткин низко наклонился и доложил:

– Этот офицер, ваше величество, не причислен к Генеральному штабу ЗА ХАРАКТЕР.

Государь повернулся опять ко мне, нервно одернул аксельбант и задал еще два незначительных вопроса: долго ли я на службе и где расположена моя бригада. Приветливо кивнул и пошел дальше.

Я видел, как просветлели лица моего начальства. Это было так заметно, что вызвало улыбки у некоторых близ стоявших чинов свиты... У меня же от разговора, столь мучительножданного, остался тяжелый осадок на душе и разочарование... в «правде воли монаршей»...

* * *

Мне предстояло отбыть лагерный сбор в одном из штабов Варшавского военного округа и затем вернуться в свою 2-ю Артиллерийскую бригаду. Но варшавский штаб, возглавлявшийся тогда генералом Пузыревским, проявил к моей судьбе большое участие. Генерал Пузыревский оставил меня на вакантной должности Генерального штаба и, послав в Петербург лестные аттестации, трижды возбуждал ходатайство о моем переводе в Генеральный штаб. На два ходатайства ответа вовсе не было получено, на третье пришел ответ:

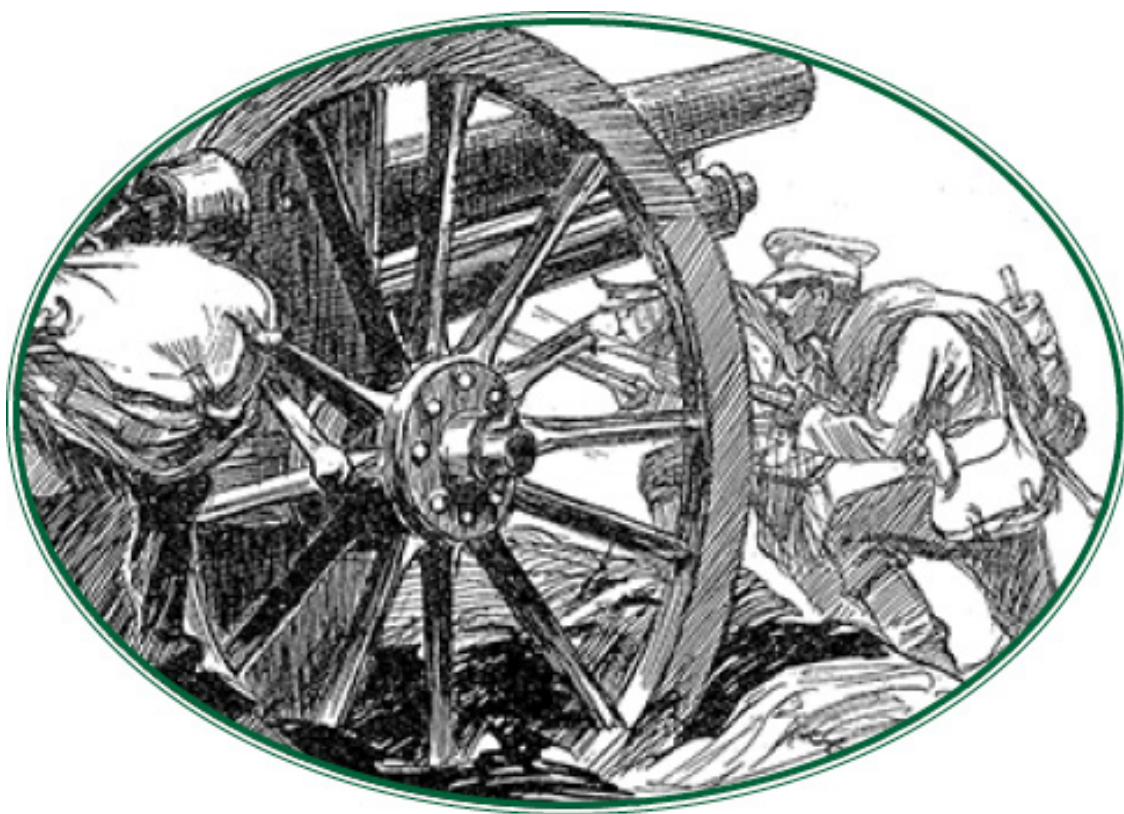
«Военный министр воспретил возбуждать какое бы то ни было ходатайство о капитане Деникине».

Через некоторое время пришел ответ и от Канцелярии прошений: «По докладу такого-то числа военным министром вашей жалобы, его императорское величество повелеть соизволил — оставить ее без последствий».

Тем не менее на судьбу обойденных офицеров обращено было внимание: вскоре всем офицерам, когда-либо успешно кончившим 3-й курс Академии, независимо от балла, предложено было перейти в Генеральный штаб. Всем, кроме меня.

Больше ждать было нечего и неоткуда. Начальство Варшавского округа уговаривало меня оставаться в прикомандировании. Но меня тяготило мое неопределенное положение, не хотелось больше жить иллюзиями и плавать между двумя берегами, не пристав к Генеральному штабу и отставая от строя.

Весною 1900 года я вернулся в свою бригаду.



Часть третья

Снова в бригаде

В бригаде я застал положение в корне изменившимся. Новый командир ее, генерал Завацкий, был отличным строевым командиром и выдающимся воспитателем войск. Он начал с того, что, запершись в кабинете с адъютантом, поручиком Ивановым – человеком умным и порядочным, поговорил с ним часа три, ознакомившись с печальным наследием генерала Л. Потом исподволь, без ломки стал налаживать выбитую из колеи бригадную жизнь.

Командир часто заходил в собрание, где первое время столовался, любил поговорить с нами – одинаково приветливо с полковником и с подпоручиком. Как-то в разговоре он заметил:

– По-моему, обучение может вести как следует только офицер. А если офицера нет, так лучше бросить совсем занятие.

И начались в бригаде странные явления...

Как-то утром поручик 3-й батареи проспал занятия, а генерал Завацкий произвел за него обучение конной смены, ни слова не сказав командиру батареи... Зашел на другой день в 5-ю батарею – позанимался там с наводчиками; в 1-й произвел учение при орудиях, успокоив командира батареи, который, получив известие о появлении бригадного, наскоро оделся и прибежал в парк:

– Ничего, мне не трудно. Я по утрам свободен.

Недели через две даже самый беспутный штабс-капитан, игравший обыкновенно всю ночь в штос и забывший, было, дорогу в батарею, стал являться аккуратно на занятия.

Впрочем, и штос вскоре прекратился. Завацкий, собрав нас, вел беседу о деморализующем влиянии азарта и потребовал тоном суровым и властным прекращения азартной игры. Все понимали, что не простой угрозой звучали его слова:

– Я никогда не позволю себе аттестовать на батарею офицера, ведущего азартную игру.

И штос, открыто и нагло царивший в офицерском собрании, перешел на время в холостые квартиры с занавешенными окнами и мало-помалу стал выводиться.

Зная и требуя службу, генерал близко вошел и в быт бригадный. Казалось, не было такой, даже самой мелкой, стороны его, в которой пятилетнее командование Завацкого не оставило бы благотворного влияния. Начиная с благоустройства лагеря, бригадного собрания, солдатских лавочек, построенной им впервые в Беле гарнизонной бани и кончая воспитанием молодежи и искоренением «помещичьей психологии» – этого пережитка прошлого, которого придерживались еще некоторые батарейные командиры, смотревшие на батарею, как на свое имение.

Аресты офицеров, казавшиеся недавно необходимым устоем службы, больше не применялись.

Надо сказать, что аресты на гауптвахте офицеров за маловажные служебные проступки властью начальника широко применялись как в русской армии, так и во всех других. Этот освященный исторической традицией и, в сущности, позорный способ воздействия между тем не применялся нигде в отношении служилых людей гражданского ведомства. За первую четверть века своей службы я знал среди высшего командования армии только одного человека, который порвал с этой традицией.

Это был командир XX корпуса генерал Мевес, умерший за три года перед японской войной. Он стремился провести в офицерской среде рыцарское понятие об ее предназначе-

нии и моральном облике. В этом наказании Мевес видел «высшую обиду личности, обиду званию нашему». Он признавал только выговор начальника и воздействие товарищей. «Если же эти меры не действуют,— говорил он,— то офицер не годен и его нужно удалить».

Мевес, в сущности, не был новатором, ибо существует давно забытый указ, из времен сурового русского средневековья, основателя нашей регулярной армии, царя Петра Великого: «Всех офицеров без воинского суда не арестовать, кроме изменных дел».

Такого же взгляда, как Мевес, придерживался и генерал Завацкий. Дисциплинарных взысканий на офицеров он не накладывал вовсе. Провинившихся он приглашал в свой кабинет... Один из моих товарищей, приглашенный для такой беседы, говорил не без основания:

— Перспектива незавидная. Легче бы сесть на гауптвахту. Это — человек, обладающий какой-то удивительной способностью в безупречно корректной форме в течение часа доказывать тебе, что ты — тунеядец или держишься не вполне правильного взгляда на офицерское звание.

* * *

В такой покойной и здоровой обстановке протекали два года моей службы при Завацком. Я был назначен старшим офицером и заведующим хозяйством в 3-ю батарею подполковника Покровского — выдающегося командира, отличного стрелка (разумею оружейную стрельбу) и опытного хозяина.

За пять лет, проведенных вне бригады, я, естественно, несколько отстал от артиллерийской службы. Но в строевом отношении я очень скоро занял надлежащее место, а в области тактики и маневрирования считался в бригаде авторитетом. Только войскового хозяйства не знал вовсе. Поэтому мы условились с Покровским, что временно он оставит хозяйство батареи в своих руках, будет учить меня и передавать мне последовательно те отрасли, которые будут мною усвоены.

Учился я прилежно и небезуспешно. Батарейное хозяйство, в малом масштабе по охвату и по отчетности, аналогично было с основным — полковым. Поэтому наука в этой области принесла мне большую пользу при дальнейшей службе. Ибо офицеры Генерального штаба на высших командных должностях, за редкими исключениями, были совершенно некомпетентны в области хозяйства и поневоле глядели из-под рук своих интендантов.

Вообще много полезного я вынес из школы Завацкого и Покровского.

Академическая история и «изгнание» из Генерального штаба нисколько не уронили в глазах товарищей мой научный престиж. Наоборот, относились они ко мне с сочувствием и признанием. Однажды это отношение проявилось в трогательной форме. Приехал из штаба корпуса капитан Генерального штаба, моложе меня в чине и сидевший в Академии за одним столом со мной,— для проверки тактических знаний офицеров.

Нескольким офицерам он задал самые элементарные задачи, в том числе... и мне. Вечером в собрании должен был происходить разбор. Возмущенный такой бестактностью, командир дивизиона приказал мне не являться в собрание, а молодежь после занятий так разделала заезжего капитана, что он не знал, куда деваться.

Отношение ко мне офицерства реально выражалось в том, что я состоял выборным членом бригадного суда чести и председателем распорядительного комитета бригадного собрания.

Атмосфера бельского захолустья не слишком меня тяготила. Общественная жизнь — в бригадном офицерском собрании, личная — в более тесном кругу сослуживцев-приятелей и в двух-трех интеллигентных городских семьях, в том числе в семье В. С. и Е. А. Чиж — родителей моей будущей жены,— меня удовлетворяли. А от службы и от дружбы оставалось достаточно свободного времени для чтения и... литературной работы.

Надо сказать, что еще в академическое время я написал рассказ из бригадной жизни, который был напечатан в военном журнале «Разведчик» (1898). Рассказ хоть и неважный, но испытал я большое волнение, как, вероятно, и все начинающие писатели – большие и малые – при выходе в свет первого своего произведения.

С тех пор я печатал очерки из военного быта в «Разведчике» и до 1904 года рассказы и статьи военно-политического содержания в «Варшавском дневнике» – единственном русском органе, обслуживавшем русскую Польшу. Писал под псевдонимом «И. Ночин», который, впрочем, не составлял секрета. Бывали рассказы и злободневные, один из которых бурно всколыхнул тихую заводь бельской жизни. Вот вкратце его содержание.

Жил в Беле один «миллионер», по фамилии Пижиц. Нажился он на арендах и подрядах военному ведомству: казармы, ремонты, отопление и проч. Там же жил некий Финкельштейн, занимавшийся тем же, которого конкуренция с Пижицем разорила. Финкельштейн питал ярую ненависть к Пижицу и, чем мог, как мог, старался ему повредить. Писал разоблачения и доносы во все учреждения, но безрезультатно. У Пижица была «рука» в штабе округа и у губернатора. В результате он правдами и неправдами стал монопольным поставщиком на всю губернию.

У Пижица был сын Лейзер, которому подошел срок поступить в солдаты. Пижиц роздал «денежные подарки» членам «Бельского воинского присутствия» и был уверен, что сына его освободят, хотя физических недостатков он не имел.

Пришел день освидетельствования. Лейзер давал такие правильные ответы доктору, подносящему к его глазам сбивчивые комбинации стекол, что присутствие признало его единогласно близоруким и к службе негодным. Вечером в местном клубе за рюмкой водки доктор выдал своему приятелю секрет:

– Очень просто: стекло в правой руке – «вижу», в левой – «не вижу»...

В отношении больных глазами требовалось переосвидетельствование в особой комиссии в Варшаве. Пижиц знал, что председатель этой комиссии также не брезгает «денежными подарками». Собрался в Варшаву.



Знак выпускника
Николаевской академии
Генерального штаба

Председателю комиссии доложили, что его желает видеть Пижиц. Посетитель долго и неприлично торговался и наговорил председателю таких дерзостей, что тот вытолкнул его за двери. Финкельштейн... ибо это был Финкельштейн, а не Пижиц... слетел стремглав с лестницы и исчез.

Когда на другой день настоящий Пижиц явился на квартиру председателя, то доживший о нем лакей вернулся и сказал изумленному Пижицу, что его не велено пускать на порог...

А через несколько дней в один из полков за Урал был отправлен молодой солдат Лейзер Пижиц.

Рассказ мой, с вымышленными, конечно, именами, изобиловал фактическими и глубоко комичными деталями. Нужно знать жизнь уездного захолустья, чтобы представить себе, какой произошел там переполох. Гневался очень губернатор; воинский начальник³⁰ поспешил перевестись в другой город; докторша перестала отвечать на приветствие; Пижиц недели две не выходил из дому; а Финкельштейн, гуляя по главной улице города, совал всем знакомым номер газеты, говоря:

— Читали? Так это же про нас с Пижицем написано!

Так жили мы, работали и развлекались в бельском захолустье.

³⁰ Полковник административной службы, ведавший набором и учетом запасных. (Примеч. автора.)

* * *

Воспоминания об академическом эпизоде мало-помалу теряли свою остроту, и только где-то глубоко засела неотвязчивая мысль: каким непроходимым чертополохом поросли пути к правде.

И вот однажды, в хмурый осенний вечер, располагавший к уединению и думам, написал я частное письмо «Алексею Николаевичу Куропаткину». Начиналось оно так:

«“А с вами мне говорить трудно”. С такими словами обратились ко мне вы, ваше превосходительство, когда-то на приеме офицеров выпускного курса Академии. И мне было трудно говорить с Вами. Но с тех пор прошло два года, страсти улеглись, сердце поуспокоилось, и я могу теперь спокойно рассказать Вам всю правду о том, что было».

Затем вкратце изложил известную уже читателю историю. Ответа не ждал. Захотелось просто отвести душу.

Прошло несколько месяцев. В канун нового 1902 года я получил неожиданно от товарищей своих из Варшавы телеграмму, адресованную «причисленному к Генеральному штабу, капитану Деникину», с сердечным поздравлением... Нужно ли говорить, что встреча Нового года была отпразднована в этот раз с исключительным подъемом.

Из Петербурга мне сообщили потом, как все это произошло. Военный министр был в отъезде, в Туркестане, когда я писал ему. Вернувшись в столицу, он тотчас же отправил мое письмо на заключение в Академию. Сухотин в то время получил уже другое назначение и уехал. Конференция Академии признала содержание письма вполне отвечающим действительности. И генерал Куропаткин на первой же аудиенции у государя, «выразив сожаление, что поступил несправедливо», испросил повеление на причисление мое к Генеральному штабу.

Через несколько дней, распрощившись с бригадой, я уехал в Варшаву, к новому месту службы.



Русский солдат

Летом 1902 года я был переведен в Генеральный штаб, с назначением в штаб 2-й пехотной дивизии, квартировавшей в Брест-Литовске. Пробыл там недолго, ибо подошла пора командовать для ценза ротой. Осенью вернулся в Варшаву, где вступил в командование ротой 183-го пехотного Пултусского полка.

До сих пор, за время пятилетней фактической службы в строю артиллерии, я ведал отдельными отраслями службы и обучения солдата. Теперь вся его жизнь проходила перед моими глазами. Этот год был временем наибольшей близости моей к солдату. Тому солдату, боевые качества которого оставались неизменными и в Турецкую, и в Японскую, и в Первую и во Вторую мировые войны.

Тому русскому солдату, которого высокие взлеты, временами глубокие падения (революции 1917 года и первый период Второй мировой войны) бывали непонятны даже для своих, а для иностранцев составляли неразрешимую загадку. Поэтому я хочу сказать несколько слов о быте солдата старой русской армии.

Сообразно распределению населения России, состав армии был такой: 80 % крестьян, 10 % рабочих и 10 % прочих классов. Следовательно, армия по существу была крестьянской. Благодаря освобождению от воинской повинности многих инородческих племен, неравномерному уклонению от призыва и другим причинам, главная тяжесть набора ложилась на чисто русское население. Разнородные по национальностям элементы легко уживались в казарменном быту.

Терпимость к иноплеменным и иноверным свойственна русскому человеку более, нежели другим. Грехи русской казармы в этом отношении и в сравнение не могут идти с режимом бывших наших противников: старой Австрии, где господствовавшие швабо-мадьярские элементы смотрели на солдат-славян, как на представителей низшей расы; или Германии, где, не говоря уже об издевательствах над поляками, прусские офицеры, в большом количестве командированные на юг, с нескрываемым презрением относились к солдатам из южных немцев, не находя для них другого обращения, как «зюд гезиндель» или «зюд каналие»...

Солдат наш жил в обстановке суровой и бедной.

В то время, о котором я говорю, в казарме вдоль стен стояли деревянные нары, иногда отдельные топчаны. На них – соломенные тюфяки и такие же подушки, без наволочек, больше ничего. Покрывались солдаты шинелями – грязными после учения, мокрыми после дождя.

Одеяла были мечтой – наших ротных командиров, но казенного отпуска на них не было. Покупались поэтому одеяла или за счет полковой экономии, или путем добровольных вычетов при получении солдатами денежных писем из дому. Я лично этих вычетов не допускал. Только в 1905 году введено было снабжение войск постельным бельем и одеялами.

Обмундирование старой русской армии обладало одним крупным недостатком: оно было одинаковым для всех широт – для Архангельска и для Крыма. При этом до Японской войны никаких ассигнований на теплые вещи не полагалось, и тонкая шинелишка покрывала солдата одинаково и летом и в русские морозы. Чтобы выйти из положения, части старались, насколько позволяла их экономия, заводить в пехоте суконные куртки из изношенных шинелей, в кавалерии, которая была побогаче (фуражная экономия) – полушубки.

Пища солдата отличалась необыкновенной скромностью. Типичное суточное меню: утром – чай с черным хлебом³¹; в обед – борщ или суп с ½ фунтом мяса или рыбы (после 1905 года – ¾ фунта) и каша; на ужин – жидкая кашица, заправленная салом. По числу калорий и по вкусу пища была вполне удовлетворительна и, во всяком случае, питательнее, чем та, которую крестьянская масса имела дома.

Злоупотреблений на этой почве почти не бывало. Солдатский желудок был предметом особой заботливости начальников всех степеней. «Проба» солдатской пищи была традиционным обрядом, выполнявшимся самым высоким начальником, не исключая государя, при посещении казарм в часы обеда или ужина.

До 1860-х годов, то есть до великих реформ императора Александра II, телесные наказания и рукоприкладство, как и во всех европейских армиях, являлись основным началом воспитания войск. Тогда физическое воздействие распространено было широко в народном быту, в школах, в семьях.

С 60-х же годов и только до первой революции телесное наказание допускалось лишь в отношении солдат, состоявших по приговору суда в «разряде штрафованных». Нужно заметить, что русское законодательство раньше других армий покончило с этим пережитком Средневековья, ибо даже в английской армии телесные наказания были отменены только в 1880 году, а в английском флоте – в 1906-м.

³¹ В день три фунта хлеба. (Примеч. автора.)

Вообще русское военное законодательство, карательная система и отношение к солдату были несравненно гуманнее, нежели в других первоклассных армиях «более культурных народов». В германской армии, например, царила исключительная жестокость и грубость. Там выбивали зубы, разрывали барабанные перепонки, заставляли в наказание есть солому или слизывать языком пыль с сапог...

Об этом говорила возмущенно не только пресса, но и официальные приказы. В течение одного, например, 1909 года вынесено было 583 приговора военными судами за жестокое обращение начальников с солдатами...

В австрийской армии существовали такие наказания, как подвешивание, когда солдата со связанными и скрюченными назад руками привязывали к столбу так, что он мог касаться земли только кончиками больших пальцев ног; в таком положении, обыкновенно в обморочном состоянии, человека держали в течение нескольких часов...

Заковывание в кандалы, при котором человеку цепью коротко прикручивали правую руку к левой ноге и в согнутом таким образом положении выдерживали шесть часов. Такая система сохранялась до 1918 года, т. е. до крушения австрийской армии.

Далеко нам было до такой «культуры»!

У нас установлены были наказания и арест, назначение не в очередь на работы, воспреещение отпуска, смещение на низшие должности.

Не скрою, бывали и в нашей армии грубость, ругня, самодурство, случалось еще и рукоприкладство, но с конца 1880-х годов в особенности – только как изнанка казарменного быта – скрываемая, осуждаемая и преследуемая. Но было, и гораздо чаще, другое: сердечное попечение, заботливость о нуждах солдата, близость и доступность. Русский военный эпос полон примеров самопожертвования – как из-под вражеских проволочных заграждений, рискуя жизнью, ползком вытаскивали своих раненых – солдат офицера, офицер солдата.

В японском плену находился раненый капитан Каспийского полка Лебедев. Японские врачи нашли, что можно спасти ему ногу от ампутации, прирастив пласт живого человеческого мяса с кожей... Двадцать солдат из числа находившихся в лазарете предложили свои услуги... Выбор пал на стрелка Ивана Канатова, который дал вырезать у себя без хлороформа кусок мяса... Этот эпизод проник в японскую печать и произвел большое впечатление в стране.

Ведь даже такое бывало на фоне дружного сожительства в походах и боях, в тисках неприятельского плена!

Вообще то отчуждение, которое существовало между русской интеллигенцией и народом, в силу особых условий военного быта, отражалось в меньшей степени на взаимоотношениях офицера с солдатом. И нужны были исключительные обстоятельства, чтобы эти отношения впоследствии столь резко изменились.

Военная наука трудно давалась нашему солдату-крестьянину, благодаря отсутствию допризывной подготовки, отсутствию у нас спорта и благодаря безграмотности. Перед Первой мировой войной призывы давали до 40 % безграмотных³². И армия, в которой с 1902 года введено было всеобщее обучение грамоте, сама должна была восполнять этот пробел, выпуская ежегодно до 200 тысяч запасных, научившихся грамоте на службе.

Во всяком случае, выручала солдатская смекалка, свойственная русскому человеку вообще, проявлявшаяся в легкой приспособляемости к самым сложным и трудным обстоятельствам походной и боевой жизни.

Как я уже говорил, русская общественность – и либеральная, и социалистическая, – исходя из незнания военного быта и из идей пацифизма и антимилитаризма, в большинстве

³² По плану императорского правительства, постепенно прогрессируя, всеобщее начальное обучение должно было завершиться в 1922 году. (Примеч. автора.)

своем относилась с равнодушием или пренебрежением к армии. Пренебрежением ко всему комплексу явлений, носивших презрительную кличку «военщины», «солдатчины», но – худо ли, хорошо ли – олицетворявших ведь собою элементы национальной обороны.

В 1902—1903 годах армия наталкивалась на испытания более тяжкие: во время вспыхивавших местами беспорядков войска, призванные для усмирения, связанные строгими правилами применения оружия и часто добросердечием начальников, подвергались не раз незаслуженным и тяжким оскорблениям толпы. Можно только удивляться, насколько малое отражение имело тогда в армии то брожение, которое происходило уже в массах на почве революционной пропаганды и социального недовольства.

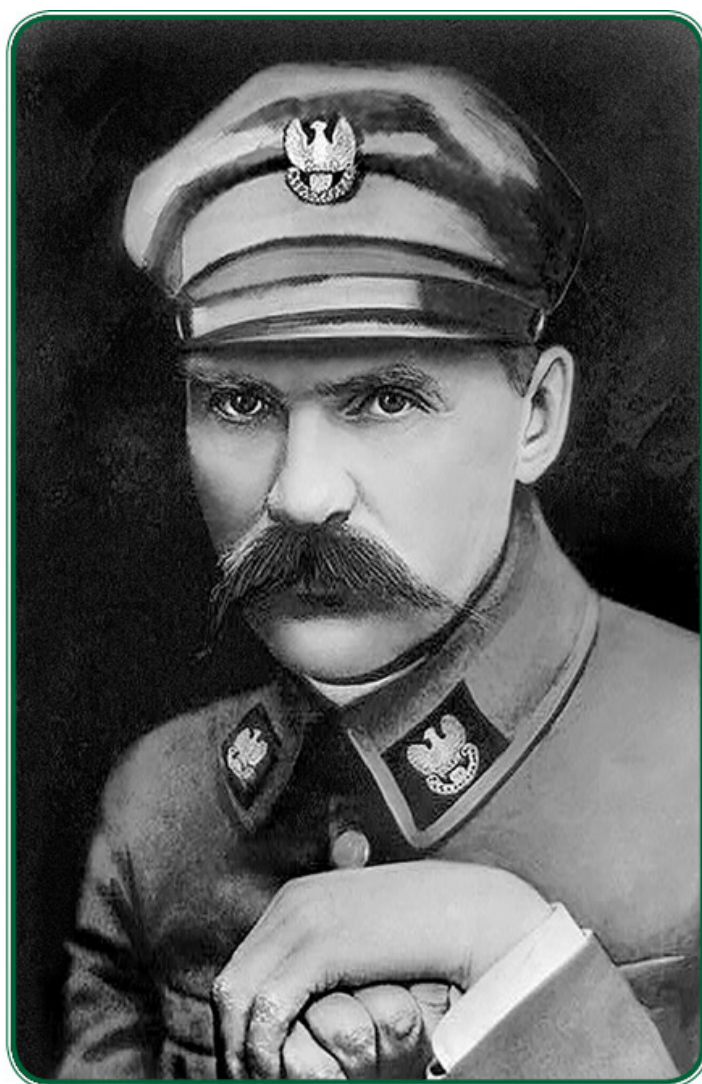
Солдаты безотказно исполняли свой долг. Но о каких-то пределах добросердечия заставил нас поразмыслить эпизод, происшедший в нашем округе, в городе Радоме, когда революционная толпа напала на дежурную роту Могилевского полка. Рота изготавилась к стрельбе. Прибывший командир полка, полковник Булатов, остановил роту:

– Не стрелять! Вы видите, что тут женщины и дети.

Вышел к толпе сам, безоружный, и... был убит наповал мальчишкой-мастеровым.

Итак, солдат старой русской армии был храбр, сметлив, чрезвычайно вынослив, крайне неприхотлив и вполне дисциплинирован.

...Покуда волны революции не смели и дисциплину, и самую армию.



Юзеф Пилсудский (1867—1935)



Юзеф Клеменс Гинятович Косьчеша Пилсудский — польский государственный и политический деятель, первый глава возрожденного Польского государства (1918—1922).

В 1926—1935 гг. занимал пост военного министра, однако де-факто по-прежнему являлся руководителем Польши.



* * *

Нашему полку не приходилось принимать участия в подавлении беспорядков. В Варшаве их тогда не было, несмотря на наличие в городе «горючего материала». Начались они позже.

Моя рота занимала несколько раз караулы в Варшавской крепости. В числе охраняемых мест был и знаменитый «Десятый павильон», где содержались важные и опасные политические преступники. В городе среди поляков ходили самые фантастические слухи о режиме, применявшемся в «павильоне», о том даже, будто русское правительство систематически отравляет заключенных...

Поэтому, вероятно, в моей инструкции, как дежурного по караулам, имелся параграф, предписывавший два раза в день пробовать пищу, подаваемую в «павильон». Слухи были, конечно, вздорны. Что же касается питания заключенных, то оно было не хуже, чем в любом офицерском собрании.

Мне было интересно при проверке часовых заглянуть внутрь здания, но, кроме длинного коленчатого коридора с выходящим в него рядом дверей, с прорезанными в них окошками, ничего больше увидеть не пришлось. Теплынь (зимою) и мертвая тишина. Мои часовые охраняли только входы и выходы из «павильона», а вдоль коридора им ходить не разрешалось. Там была жандармская охрана.

В одной из этих камер содержался будущий маршал и диктатор Польши Иосиф Пилсудский.

Еще в 1887 году, будучи двадцатилетним студентом, Пилсудский за косвенное участие в деле о покушении на императора Александра III³³ был сослан в Сибирь на поселение, сроком на 5 лет³⁴. По возвращении из ссылки он вступил в революционную организацию «Польская социалистическая партия», которая вместе с уклоном к марксизму имела главной целью поднятие польского народного восстания.

Пилсудский занял в ней видное место и стал редактором подпольной «Рабочей газеты». Но в 1900 году, живя по подложному паспорту, был обнаружен полицией, захвачен вместе с женой в тайной типографии и посажен в «Десятый павильон». Варшавские власти решили предать его военному суду по статье, угрожавшей каторжными работами, но Петербург отменил это решение, ограничив наказание ссылкой в Сибирь на поселение – в административном порядке.

Политические друзья Пилсудского выработали план его освобождения. Бежать из Варшавской крепости не было никаких возможностей. Поэтому, чтобы добиться перевода его в другое место, решено было, что Пилсудский станет симулировать душевную болезнь. Немалую помощь оказывал заговорщикам чин крепостного штаба Седельников, который доставлял заключенному записки с воли, в том числе инструкции врача-специалиста относительно способов симуляции.

«Болезнь» Пилсудского заключалась в том, что он впадал в неистовство при виде военного мундира входивших в его камеру лиц и осыпал их бранью... Вместе с тем он отказывался от приносимой пищи под предлогом, что она отравлена. Питался вареными яйцами. Через некоторое время видный варшавский психиатр Шабашников добился освидетельство-

³³ Главное участие в покушении принимал брат Ленина Александр, за это дело казненный. (Примеч. автора.)

³⁴ Политических ссыльных, в мере предполагаемой их опасности, ссылали в сибирские города или отдаленные поселки. Многие попадали на Крайний Север – с суровым климатом и без малейших культурных условий. Там, выдавая ссыльным ничтожное пособие, предоставляли им жить и работать, как им заблагорассудится. (Примеч. автора.)

вания им Пилсудского и – по «доброте» или по соучастию в заговоре – признал положение заключенного весьма серьезным и требующим клинического лечения.

Варшавские власти, после восьмимесячного заключения в крепости, отправили Пилсудского в петербургский Николаевский госпиталь для душевнобольных, откуда он, без особого труда, бежал за границу, вместе со своей женой. Ее раньше еще освободили из-под ареста на том основании, что «жена не отвечает за деятельность своего мужа».

В дальнейшем Пилсудский, вернувшись нелегально в русскую Польшу, принял участие в создании «Боевого отдела» партии и приступил к террористической деятельности и к ограблению казначейств (с 1905 года).

Старая русская власть имела много грехов, в том числе подавление культурно-национальных стремлений российских народов. Но когда вспоминаешь этот эпизод, невольно приходит на мысль, насколько гуманнее был «кровавый царский режим», как его называют большевики и их иностранные попутчики, в расправе со своими политическими противниками, нежели режим большевиков, да и самого Пилсудского, когда он стал диктатором Польши.

* * *

Годичное командование ротой прошло без всяких приключений.

Я видел ясно некоторые недочеты в системе нашего боевого обучения, писал на эту тему, но практически в скромной и зависимой роли ротного командира ничего в этом направлении осуществить не мог. Я не буду распространяться на эту специальную тему, приведу один лишь пример, понятный и для неспециалистов.

Уже в вооружение армий вводились скорострельная артиллерия и пулеметы, и в военной печати раздавались предостерегающие голоса об обязательной «пустынности» полей сражений, на которых ни одна компактная цель не сможет появиться, чтобы не быть уничтоженной огнем... А наша артиллерия все еще выезжала лихо на открытые позиции, наша пехота в передовом Варшавском округе, как у нас говорилось, «ходила ящиками»: густые ротные колонны в районе стрелковых цепей в сфере действительного огня передвигались шагом и даже в ногу!..

За это упущение пришлось нам поплатиться в первые месяцы Японской войны...

А она надвигалась. Кончил я командование ротой осенью 1903 года накануне войны. Но ее приближение ни в малейшей степени не отражалось на жизни, службе и настроении войск. Не только у нас в пограничном Варшавском округе, войска которого не предполагалось снимать с австро-германского фронта, но и в других округах не замечалось ни какой-либо особой технической подготовки, ни морального воздействия на солдат и офицеров.

Мы – большие и маленькие командиры, по требованию свыше МОЛЧАЛИ.



Перед Японской войной

Мы молчали. Да и что мы могли сказать солдатам, чем возбудить их заинтересованность, как подымать их настроение, когда мы ровно ничего не знали о том, что происходит на Дальнем Востоке. Ни командный состав, ни офицерство, ни Генеральный штаб, за исклю-

чением узкого круга лиц, соприкасавшихся с областью международной политики. Ни, тем более, русская общественность.

Между тем в начале 1903 года широко распространилось известие, что вице-адмирал Абаза³⁵ и отставной штабс-ротмистр Безобразов, возведенный вскоре неожиданно для всех в высокое звание «статс-секретаря его величества», в компании высокопоставленных лиц, приобрели концессию на эксплуатацию лесов Северной Кореи, и что туда, для охраны дроворубов, вводятся военные отряды.

Этот один авантюристический эпизод, которому молва приписывала исключительно корыстные цели, в глазах широкой общественности заслонил собой основные причины назревавшей на Дальнем Востоке сложной исторической драмы.

Комитет министров не представлял из себя объединенного правительства, обладающего инициативой и коллегиальной ответственностью. Решения огромной государственной важности принимались в Петербурге нередко без широкого обсуждения или вопреки мнению правительственных совещаний, по докладу того или другого министра, иногда безответственного лица. Тайные дипломаты, вроде Абазы, ставили не раз членов правительства перед свершившимся фактом. А страну и те, и другие держали в полном неведении.

Результаты получились плачевные.

«В то время как в Японии весь народ, от члена Верховного тайного совета до последнего носильщика, отлично понимал и смысл и самую цель войны с Россией, — говорится в официальной истории войны, — когда чувство неприязни и мщенья к русскому человеку накопилось там годами, когда о грядущей войне с Россией говорили все и всюду, у нас предприятия на Дальнем Востоке явились для всех полной неожиданностью; смысл их понимался лишь очень немногими...»

Все, что могло выяснить смысл предстоящего столкновения, цели и намерения правительства, или замалчивалось, или появлялось в форме сообщений, что все обстоит благополучно. В результате, в минуту, когда потребовалось общее единение, между властью и народной массой легла трудно устранимая пропасть».

Напомним в общих чертах хронологию событий.

Первым этапом японской экспансии на материк становится Корея еще в 1882 г. — пока политической и финансовой. На этой почве между Японией и Китаем³⁶ происходят длительные столкновения, окончившиеся в 1894 г. войною, в которой Китай терпит полное поражение. Между прочим, и тогда уже японцы без объявления войны затопили караван китайских судов... По Симоносекскому мирному договору Китай должен был отдать Японии Формозу и Ляодунский полуостров с Порт-Артуром и обязался выплатить большую контрибуцию. Но, благодаря вмешательству России, Германии и Франции, Япония принуждена была отказаться от Ляодуна. Корея была признана самостоятельным государством.

Россия при содействии Франции устроила Китаю крупный заем для уплаты первого взноса контрибуции и дала гарантию в отношении последующих взносов. За эти весьма серьезные услуги в 1896 г., по договору министра финансов Витте с Ли Хунчжаном, Китай предоставил России право сооружения ветви Транссибирской железной дороги, соединяющей прямым путем Забайкалье с Владивостоком, по маньчжурской территории через Харбин.

Через 36 лет Китай имел право выкупить дорогу, а через 80 лет она переходила к нему бесплатно. Это соглашение было обоюдовыгодным, оживляя малонаселенные и дикие просторы Северной Маньчжурии, являясь, по существу, оборонительным союзом России и Китая, и не предreshало оккупации края: военная охрана ж. д. пути и русская юрисдикция, не

³⁵ Управляющий делами Особого комитета Дальнего Востока. (Примеч. автора.)

³⁶ Корея находилась под протекторатом Китая. (Примеч. автора.)

касясь местного населения, распространялись только на узкую полосу отчуждения вдоль ж. д. линии. Этот порядок соблюдался в течение четырех лет, до Боксерского восстания.

После 1895 года японская экспансия в Корее усиливается. Япония вводит в Корею отряды, десятки тысяч колонистов, берет в свои руки торговлю, почту, телеграф, ж. д. строительство и устраивает дворцовые перевороты... Презрительное отношение японцев к корейскому народу и вводимый ими жестокий режим вызывают восстания и обращение корейского короля за помощью к России.

В Корею посылаются русские финансовые советники и военные инструктора. И хотя в 1896 году между Японией и Россией состоялось соглашение о разделе влияния в Корее, но преобладающее влияние там на некоторое время остается за Россией.

В конце 1897 года происходит событие, находившееся в связи с систематической провокацией Германии, в частности императора Вильгельма, старавшегося всеми силами втянуть Россию в дальневосточный конфликт, чтобы, ослабив нас, иметь свободные руки на Западе. Под несерьезным предлогом немцы захватывают Киа-чоу, по свидетельству Витте, с ведома российского министра иностранных дел Муравьева.

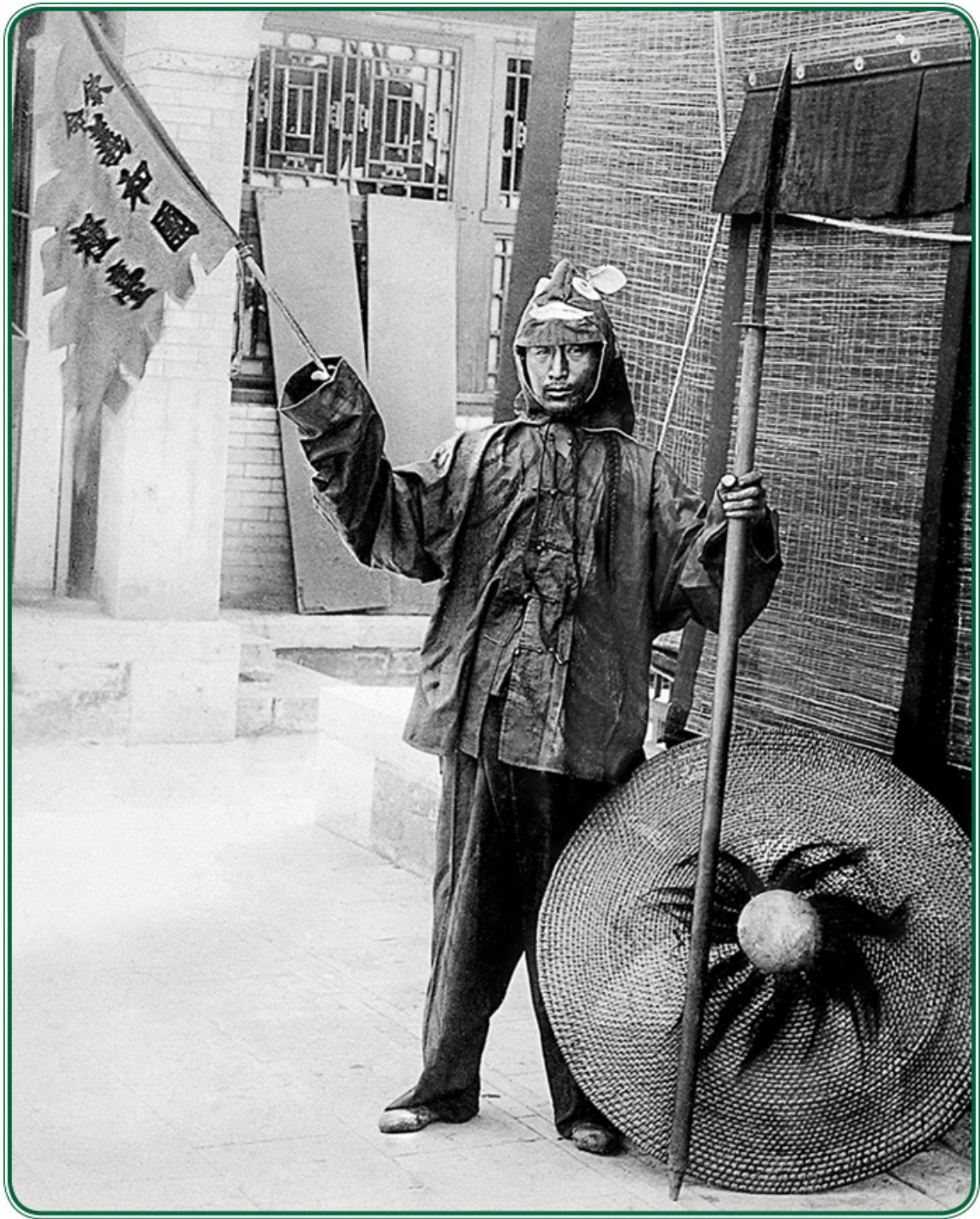
И, вопреки протесту Витте и других министров, Россия, недавно только вступавшаяся за неприкосновенность «дружественного» Китая, вместо протеста сама завладела Квантунским полуостровом, обратив Порт-Артур в крепость и Далиенван (Дальний) – в порт коммерческий, открытый для иностранной торговли.

Акт этот не имеет оправдания. Несомненно, свободный выход к незамерзающим портам Великого океана представлял жизненный интерес для империи с ее громадной азиатской территорией и морской границей, запертой большую часть года льдами и полузапертой стратегически Японскими островами. Но тот насильственный путь, которым осуществлялась эта задача, не соответствовал ни интересам, ни достоинству России.

В конце концов 15 марта 1898 года китайское правительство согласилось сдать в аренду России Квантунские порты сроком на 25 лет и разрешило провести южноманьжурскую ветвь ж. д. через Мукден к Порт-Артуру.

Это выдвигание России создало враждебное отношение к нам Китая, целую бурю в Японии, в планах которой Маньчжурия составляла второй, после Кореи, этап экспансии, и вызвало неудовольствие Англии и Америки, боявшихся потерять маньжурский рынок. Сложная политическая ситуация, новые задачи по обеспечению выхода к южным портам, наконец, нежелание войны с Японией – побудили русское правительство поступиться своим влиянием в Корее.

Оттуда отозваны были русские советники и военные инструктора, и Япония прочно обосновалась в Корее, по существу оккупировала ее. Это положение создавало серьезную угрозу нашему Приамурскому краю, Сибирской магистрали и свободе морских сообщений Дальнего Востока через Корейский пролив.



**Участник Боксерского восстания.
Фотография. 1900 г.**

* * *

В 1900 году в Корее началось «боксерское движение» против «заморских чертей»... Движение, в котором перемешивались стимулы и разбойничьи, и национальные – как реакция против китайской политики иностранных держав. Выразилось оно в убийствах ино-

странных дипломатов, купцов и резидентов, в разгроме иностранных торговых и культурных учреждений. Так как китайское правительство не имело ни силы, ни желания бороться с этим движением, вернее, ему сочувствовало, то, по соглашению заинтересованных держав, в Китай введены были международные войска, общее командование которыми, довольно, впрочем, фиктивное, поручено было немецкому фельдмаршалу Вальдерзее.

Восстание было подавлено. Заняв в ходе войны Маньчжурию, Россия обязалась вывести оттуда свои войска в три срока, «если этому не воспрепятствует образ действий других держав». Эвакуация в первый срок была выполнена, но дальнейшая в начале 1903 года была задержана: с одной стороны – благодаря усилиям петербургской «тайной дипломатии», с другой – ввиду действительно агрессивных действий Японии, которая восстанавливала Китай против России, всемерно мешала русско-китайскому соглашению, дерзко требуя (!) от сторон объяснений и предлагая Китаю военную помощь против России...

В течение 1903 года, вместе с тем, шли между Петербургом и Токио длительные, нудные и неискренние переговоры. Я не буду останавливаться на деталях их, напомним только сущность позиции обеих сторон.

Япония требовала для себя полной свободы рук в Корее и добивалась участия в решении «маньчжурской проблемы», как страна, «имеющая там широкие и существенные права и интересы». Между прочим, требовала права проведения железных дорог из Кореи на соединение с Южно-Маньчжурской и далее на Шанхай—Гуаньчжун. Такое внедрение японских железных дорог преследовало прежде всего стратегические цели, облегчая выступление как против Китая, так и против России.

Русское правительство не допускало вмешательства Японии в свои договорные отношения с Китаем, но заверяло, что оно *«не будет препятствовать Японии, как и другим государствам (имелись в виду Англия и США), пользоваться правами, приобретенными ими в Маньчжурии по действующим с Китаем договорам»*.

Предоставляя Корею всецело японской оккупации, Россия требовала только гарантии, что территория ее не будет использована в стратегических целях и что не будет произведено военных работ, могущих угрожать плаванию по Корейскому проливу. И для обеспечения своего почти беззащитного Приамурского края, к которому подходила граница Кореи, Россия предлагала установить нейтральную зону к северу от 39 параллели, в которую ни одна сторона не должна была вводить свои войска.

Благодаря этой мере теряла бы свою остроту и авантюра Абазы—Безобразова, с их лесной концессией на Ялу. Тем более что, по настоянию министров Витте и Куропаткина, государь еще 5 апреля 1903 года приказал отозвать с территории концессии всех военных и придать ей чисто коммерческий характер, допустив участие иностранного капитала.

В разгаре этих переговоров, неожиданно для всех, не исключая и правительства, 30 июля 1903 года государь учредил наместничество на Дальнем Востоке, включив в него Приамурское генерал-губернаторство, Квантунский округ и российские учреждения и войска в Маньчжурии. Наместником был назначен адмирал Алексеев, в руки которого, как непосредственного докладчика государю, перешли дальневосточные дела. Министерства военное и иностранных дел отошли на задний план. Решительный поборник мирного разрешения дальневосточной проблемы Витте был устранен с поста министра финансов; Куропаткин подал в отставку, но был задержан и получил продолжительный отпуск.

Интересно, что Куропаткин, проявлявший в деле этом колебания и в начале 1903 года не допускавший очищения нами Маньчжурии, в конце года (26 ноября) в докладе государю предлагал вернуть Китаю Порт-Артур и Дальенван и продать Китаю Южноманьчжурскую ветвь железной дороги, взамен за особые права в Северной Маньчжурии... Решение – радикальное. Но нет сомнения, что, если бы мы оставили тогда Южную Маньчжурию, она попала

бы в конце концов в руки Японии, усилив в невероятной степени ее стратегическое положение в отношении русского Дальнего Востока.

Выдвинутый на свой пост дворцовой интригой, адмирал Алексеев – не флотоводец, не полководец и не дипломат – находился под сильным влиянием закулисной политики Абазы —Безобразова, вносившей в ход переговоров характер раздражения и большей требовательности, чем то было со стороны министерств. Какую вредную роль играла эта двойственная политика, можно судить по заключительному эпизоду русско-японских дипломатических сношений. 28 января 1903 года по высочайшему повелению состоялось «Особое совещание», под председательством великого князя Алексея Александровича, из трех министров (иностраннных дел, военного, морского) и Абазы – для обсуждения последнего предложения Японии.

Совещание постановило пойти на крайние уступки и в том числе на отказ от «нейтральной зоны» в Северной Корее. Абаза остался при особом мнении, требуя лишь ограничения зоны Ялудзянским водоразделом. За два дня до представления журнала совещания государю Абаза, после личного доклада ему, вызвал японского посланника Курино и сообщил ему решение в своей версии... Министр иностранных дел Ламсдорф узнал об этой выходке Абазы много времени спустя после открытия военных действий и в своем докладе государю назвал ее «совершенно невероятной».

Дипломатический язык более сильного выражения не допускал. А через два дня после выходки Абазы мнение министра иностранных дел и «Особого совещания» получило санкцию государя... В своем последнем предложении Японии Россия допускала внедрение японцев в Маньчжурию железнодорожным путем из Кореи, отказывалась от гарантий, от «нейтральной зоны» и предоставляла Японии полную свободу рук в Корее.

Но никакая уступчивость официальных руководителей русской политики не могла уже улучшить и никакое противодействие закулисных сил – ухудшить положение. Ибо Япония, пустив в ход весь свой военный механизм, решила на вооруженное столкновение, торопясь выступить до подхода подкреплений из России. Последнее русское предложение было отправлено по телефону нашему посланнику в Токио 4 февраля и в тот же день в копиях – в Париж и Лондон.

Содержание его, следовательно, было вовремя известно японскому правительству, тем более что японский посол в Лондоне Хаяши того же 4 февраля телеграфировал в Токио, что английское правительство считает сделанные Россией уступки предельными и что неприятие их Японией может лишить ее поддержки всех держав... Но мирное решение вопроса вовсе не входило в намерения японского правительства. Оно задержало передачу телеграммы нашему послу в Токио до 7-го, а 6-го через посланника своего в Петербурге обратилось к русскому правительству с нотой, которая, после фактического захвата японцами Кореи, звучала невыносимым лицемерием.

«Его величество, император Японии, – говорилось в ноте, – считает независимость и территориальную неприкосновенность Кореи исключительно существенными для своего собственного спокойствия и безопасности и, вследствие этого, не может взирать с безразличием ни на какое действие, направленное к тому, чтобы сделать необеспеченным положение Кореи».

Нота заканчивалась словами:

«Императорское правительство оставляет за собой право принять такое независимое действие, какое сочтет наилучшим... для охраны своих прав и интересов».

В тот же день, 6 февраля, японцы захватили корабли русского Добровольного флота (коммерческие), бывшие в восточных водах, а флот адмирала Того вышел в море и в ночь с 8 на 9 февраля без объявления войны напал на русскую эскадру в Порт-Артуре, выведя из строя два броненосца и один крейсер и блокируя эскадру.

* * *

Теперь, после всех событий Второй мировой войны, потрясших мир, подход к возникновению Русско-японской войны должен быть коренным образом пересмотрен. Несомненно, более прямая и дружественная политика русского правительства к Китаю и устранение закулисной работы темных сил могли бы отдалить кризис. Но только отдалить. Ибо тогда уже выявилась паназиатская идея, с главенством Японии, овладевшая водителями молодой, недавно выступившей на мировую арену державы и проникавшая в толщу народа.

И если в течение ряда исследовавших лет сменявшиеся у кормила власти японские партии «минсейто» и «сейюкай» и обособленная военная группа («Черный Дракон») весьма расходились в методах, сроках и направлениях экспансии, то все они одинаково представляли себе «историческую миссию» Японии.



Русские войска охраняют правительственные учреждения в Пекине. Фотография из газеты «The Illustrated London News». 1900 г.

России суждено было противостоять первому серьезному натиску японской экспансии на мир. Конечно, русское правительство виновно в нарушении суверенитета Китая выходом к Квантунским портам. В морально-политическом аспекте все великие державы не были безгрешны в отношении Китая, используя его слабость и отсталость путем территориальных

захватов³⁷ или экономической эксплуатации; практика иностранных концессий и поселений была вообще далека от идиллии содружества...

Но последующие события свидетельствуют, что, при отказе от оккупации Маньчжурии и при уважении там договорных прав иностранных держав, русская акция была неизмеримо менее опасной и для них, и для Китая, нежели японская.

Этого тогда не поняли.

Китай, не выступая активно, занял враждебное положение в отношении России.

Англия еще с 1902 года заключила союз с Японией, обязавшись оказать ей военную помощь, если бы Япония, *«при охране своих интересов в Китае, вступила в столкновение с другой державой и к последней присоединилась бы еще одна или несколько держав»*.

Другими словами, давалось обеспечение от противояпонской коалиции... Англия обещала и действительно оказала Японии большую материальную помощь и принимала существенное участие в создании японского флота. Английская печать всемерно возбуждала Японию против России, а главнокомандующий, генерал Уольслей, после занятия нами Порт-Артура заявил, что в случае войны «британская армия будет в полной готовности».

В своей борьбе против России и за утверждение на азиатском материке Япония нашла поддержку и в США. На ее стороне были руководители американской политики и большая часть печати. Посетивший тогда Нью-Йорк японский принц Фусими³⁸ был принят там весьма приветливо и получил заверение, что *«Соединенные Штаты имеют общие с Японией не только коммерческие, но и политические интересы»*...

Японии обещана была экономическая помощь и оказана в широких размерах.

Несомненно, без таких гарантий со стороны Соединенных Штатов и особенно Англии Япония в 1904 году не выступила бы. Так державы эти ковали оружие для своего естественного врага, создавая «великодержавную Японию». И тот самый исторический бумеранг, который ударил по русским головам у Порт-Артура, в обратном полете своем пронесся по всему Китаю и нанес удар по Сингапуру и Пёрл-Харбору...

В результате войны успехи, одержанные желтой расой над белой, выдвинули Японию в ранг первоклассных держав, возбудили воспаленное воображение нации и окончательно определили пути японского империализма, нашедшего потом столь яркое изображение в так называемом «завещании Танаки³⁹».

В этом документе – докладе императору в июле 1927 года бывшего премьера и главы партии «сейюкай», выработанном особой комиссией, имеются такие знаменательные строки: *«Согласно завету Мейдзи, наш первый шаг должен был заключаться в завоевании Формозы, а второй – в аннексии Кореи. Теперь должен быть сделан третий шаг, заключающийся в завоевании Маньчжурии, Монголии и Китая. Когда это будет сделано, у наших ног будет вся остальная Азия. Раса Ямато сможет тогда перейти к завоеванию Мира»*.

А так как поперек пути к завладению Китаем встали Соединенные Штаты, то «мы должны будем сокрушить их».

* * *

Мы оказались неподготовленными к войне ни в политическом, ни в военном отношении.

³⁷ Тогда же Германия захватила Киа-чоу, Англия – Вейхавей, Франция – бухту Гаун-Чжовань. (Примеч. автора.)

³⁸ Фусими Хироюсу (1876—1946) – член японской императорской семьи. В возрасте 10 лет был зачислен в военноморское училище. Занимал различные посты в ВМФ Японии, пользовался уважением и авторитетом у японских моряков. С 1932 по 1940 г. возглавлял Морской генеральный штаб.

³⁹ Танака Гиити (1863—1929) – японский государственный и военный деятель, генерал, 26-й премьер-министр Японии (1927—1929).

Необходимость усиления нашего военного потенциала на Дальнем Востоке встречала препятствие в нашем положении на Западе, благодаря недоверию к Германии. Военный министр Куропаткин (1900) считал нашу западную границу «находящейся еще в небывалой в истории России опасности» и требовал укрепления там нашего военного положения без разбрасывания сил и средств «на внешние предприятия».

На огромной территории Дальнего Востока к началу 1904 года находилось всего 108 батальонов, 66 конных сотен и 208 орудий, т. е. около 100 тысяч офицеров и солдат. Подкрепления могли подвозиться из России с громадных расстояний, причем пропускная способность Сибирской магистрали равнялась всего трем парам сквозных поездов в сутки. Между тем, с точки зрения чисто военной, нужно было или не выходить к Порт-Артуру, или, решившись на этот шаг, необходимо было тогда же сосредоточить крупные силы в Приамурском крае и в Квантуне.

Но, самое главное, мы недооценили военной силы Японии. Эту ошибку разделяли с нами военные штабы всех великих держав. Все военные агенты ходили в Японии впотьмах, благодаря трудности языка, крайней подозрительности и осторожности японского командования и, наконец, к чести японцев, почти полного отсутствия там того порочного элемента, который в других государствах идет на службу иностранного шпионажа. Ошибки были очень серьезные.

Так, максимальным напряжением Японии считалась нами постановка под ружье 348 тысяч человек, причем на театр военных действий – 253 тысячи. Между тем Япония призывала 2 727 000, из которых использовано было для войны 1 185 000, т. е. в три раза больше предположенного. Не принято было во внимание, что 13 японских резервных бригад получили такую организацию и вооружение, что могли выйти в бой наряду с полевыми дивизиями. И т. д.

Более определенными были сведения о японском флоте. К 1904 году в водах Дальнего Востока наша броненосная эскадра была равносильной японской, но состояла из судов разных систем; минные же и крейсерские суда уступали японским и в количестве, и в качестве.

Очень плохо обстояло знакомство наше с качествами и духом японской армии. До 1895 г. ни русская военная литература, ни служебные органы не обращали на нее никакого внимания. Только с тех пор, и в особенности с 1901 года, это внимание усилилось. Причем почти единственным источником, из которого мы, офицеры Генерального штаба, могли черпать сведения об японской армии, был «не подлежащий оглашению» «Сборник материалов по Азии».

Сведения поступали очень противоречивые: от предостерегающих и лестных отзывов об японской армии до уничижительной оценки военного агента, полковника Ванновского, который считал вооруженные силы Японии блефом, а армию ее опереточной. Ту армию, о которой генерал Куропаткин после первых боев доносил государю: *«Мы имеем дело с весьма серьезным противником, отлично подготовленным, обладающим обширными и самыми усовершенствованными силами и средствами, многочисленным, весьма храбрым и отлично руководимым».*

Невзирая на недооценку японской вооруженной силы, план войны, принятый генералом Куропаткиным еще в 1901 году, в бытность его военным министром, отличался чрезвычайной осторожностью: прочное обеспечение Владивостока и Порт-Артура, сосредоточение главных сил в районе Мукден—Ляоян—Хайчен, постепенное отступление к Харбину, пока не соберутся превосходные силы. Этот априорный план тяжелым грузом лежал на всех решениях генерала Куропаткина, лишая его дерзания, препятствуя использованию благоприятных случаев для перехода к активным действиям и ведя от отступления к отступлению.

По совокупности всех изложенных обстоятельств, война не могла быть популярна в русском обществе и в народе. И не только потому, что все сложные перипетии, предшество-

вавшие ей, держались в тайне, но и потому еще, что сама русская общественность, научные круги и печать очень мало интересовались Дальним Востоком. По словам Витте, *«в отношении Китая, Кореи, Японии наше общество и даже высшие государственные деятели были полные невежды»*.

Поэтому, когда началась война, то для многих единственным стимулом, оживившим чувство патриотизма и оскорбленной народной гордости, было предательское, без объявления войны нападение на Порт-Артур.

Правая общественность, не вдаваясь в оценку правительственной деятельности, ответила патриотическими манифестациями; либеральная отнеслась к войне по-разному. Одни с патриотической тревогой, другие с безразличием, а потом и те, и другие использовали военные неудачи для сведения счетов с непопулярным правительством; левая общественность заняла явно пораженческую позицию.

В брошюре, изданной социал-революционерами под заглавием «К офицерам русской армии», говорилось: *«Всякая ваша победа грозит России бедствием упрочения “порядка”*; всякое поражение приближает час избавления. Что же удивительного, что русские радуются успехам наших противников»...

В конце концов народ собирался спокойно на призывные пункты, и мобилизация проходила в порядке. И армия пошла на войну без всякого подъема, исполняя только свой долг.

* * *

Меня открытие войны застало в Польше. После командования ротой я был переведен в штаб 2-го кавалерийского корпуса, квартировавшего в Варшаве.

Поляки встретили объявление войны жутким молчанием, по внешности равнодушным, за которым скрывалось недоброжелательство и скрытые надежды на изменение судеб Польши. Трогательную и волнующую картину представляли тогда в Варшаве манифестации небольших групп русских людей, с хоругвями и пением «Спаси, Господи, люди Твоя», шествовавших по варшавским улицам среди молчаливой, злорадной толпы...

Польская социалистическая партия («П. П. С.») откликнулась воззванием, полным злобы и ненависти к России и пожеланием победы японской армии. Умеренная партия «народовых демократов», руководимая Дмовским⁴⁰, в своем обращении к стране предостерегала сограждан от активных выступлений, которые могут стать гибельными. Считая, что начавшаяся война не может еще повести к изменениям европейских границ, но поведет к внутренним переменам, благоприятным для подвластных России народов, обращение рекомендовало «собирать силы и объединяться» для активной работы в будущем.

Эта точка зрения возобладавала. В Польше не было попыток к народному восстанию. Отдельные террористические акты исходили исключительно от малочисленной «П. П. С.», в особенности с конца 1905 года, когда во главе боевой организации партии стал Иосиф Пилсудский. Эта же партия была единственной среди всех российских революционных организаций, которая – на свой риск и страх, но от имени Польши – пыталась войти в договорные отношения с японским штабом...

В мае 1904 года Пилсудский поехал в Токио, с предложением сформировать польский легион для японской армии, организовать для японцев службу шпионажа, взрывать мосты в Сибири. За это от японцев для польского восстания требовалось оружие, снаряжение и

⁴⁰ Роман Дмовский (1864—1939) – польский политический деятель, публицист. Первоначально выдвигал программу консолидации национально-ориентированных сил на противодействие политики русификации, однако затем, в годы Первой русской революции, выступал за сотрудничество с царскими властями и подавление революционного движения. Деятельность Дмовского после Первой мировой войны оказала влияние на всплеск антисемитизма в Польше в 1920—1930-х гг.

деньги. И, кроме того, обязательство – при заключении мирного договора с Россией потребовать предоставления Польше самостоятельности (!).

Насколько мало корней имела «П. П. С.» в народе, видно из того, что, когда составлялось воззвание к военным полякам, Пилсудский требовал отнюдь не применять в нем «партийный штамп», а изложить «в горячо-патриотическом духе и даже с упоминанием Ченстоховской Божией Матери⁴¹».

Японцы приняли Пилсудского очень любезно, но отказали во всем. Разрешено было только выделить поляков-пленных в особые команды и допустить к ним антирусских пропагандистов. Денег японцы также не дали и только оплатили обратную поездку Пилсудского.

Я подчеркиваю эту сторону деятельности Пилсудского, ибо ненависть его к России с юных лет довела в нем над побуждениями государственной целесообразности, что привело впоследствии к событиям, одинаково трагичным как для национального противобольшевистского движения в России, так и для судеб самой Польши.

Старания «П. П. С.» объединить против России революционные организации Финляндии, Прибалтики, Кавказа и других окраин также не увенчались успехом. В Закавказье с объявлением войны состоялся ряд патриотических манифестаций мусульман, а закавказский шейх-уль-ислам⁴² обратился к своим единоверцам с воззванием «в случае надобности принести и достояние, и жизнь». Даже Финляндия, которая бойкотировала в то время указ о привлечении ее граждан к воинской повинности, сделала приличный жест: ее сенат обратился с телеграммой к государю, свидетельствуя о «непоколебимой преданности государю и великой России» и ассигновал 1 млн марок на военные нужды...

Центробежные силы в 1904 году не осложняли трудного положения России.



На войну

Объявление войны застало меня больным. Незадолго перед тем на зимнем маневре подо мной упала верховая лошадь, придавила ногу и проволокла с горы вниз несколько десятков шагов. В результате – порванные связки, кровоподтеки, один палец вывихнут, один раздавлен и т. д. Пришлось лежать в постели. Когда был получен манифест о войне, я тотчас же подал рапорт в штаб округа о командировании меня в Действующую армию.

Штаб, ссылаясь на неимение указаний свыше, отказал. На вторичное мое обращение штаб запросил: «Знаю ли я английский язык?» Ответил: «Английского языка не знаю, но драться буду не хуже знающих»... Ничего не вышло. Нервничал, не находил себе покоя. Наконец, мой ближайший начальник, генерал Безрадецкий, послал частную телеграмму с моей просьбой в Петербург, в Главный штаб. И через несколько дней, к великой моей радости, пришло оттуда распоряжение – командировать капитана Деникина в Заамурский округ пограничной стражи.

Дождаться выздоровления я не стал. Решил, что до «Сибирского экспресса» как-нибудь доберусь, а там во время длительного пути (16 дней) нога придет в порядок. Назначил день отъезда на 17 февраля.

⁴¹ Ченстоховская икона Божией Матери, по преданию, была написана евангелистом Лукой и считается одной из самых почитаемых святынь в Польше и других странах Центральной Европы.

⁴² Титул высшего должностного лица по вопросам ислама в исламских государствах и образованиях.

В Варшавском собрании офицеров Генерального штаба состоялись проводы: «дорожный посошок» – бокал вина и поднесение мне подарка – хорошего револьвера. Старейший из присутствовавших, помощник командующего округом генерал Пузыревский, сказал несколько теплых слов, подчеркнув мое стремление на войну, не долечившись.

На случай смерти я оставил в своем штабе «завещание» необычного содержания. Не имея никакого имущества, я привел в нем лишь перечень своих небольших долгов, проект их ликвидации путем использования кой-какого моего литературного материала и просил друзей позаботиться о моей матери.

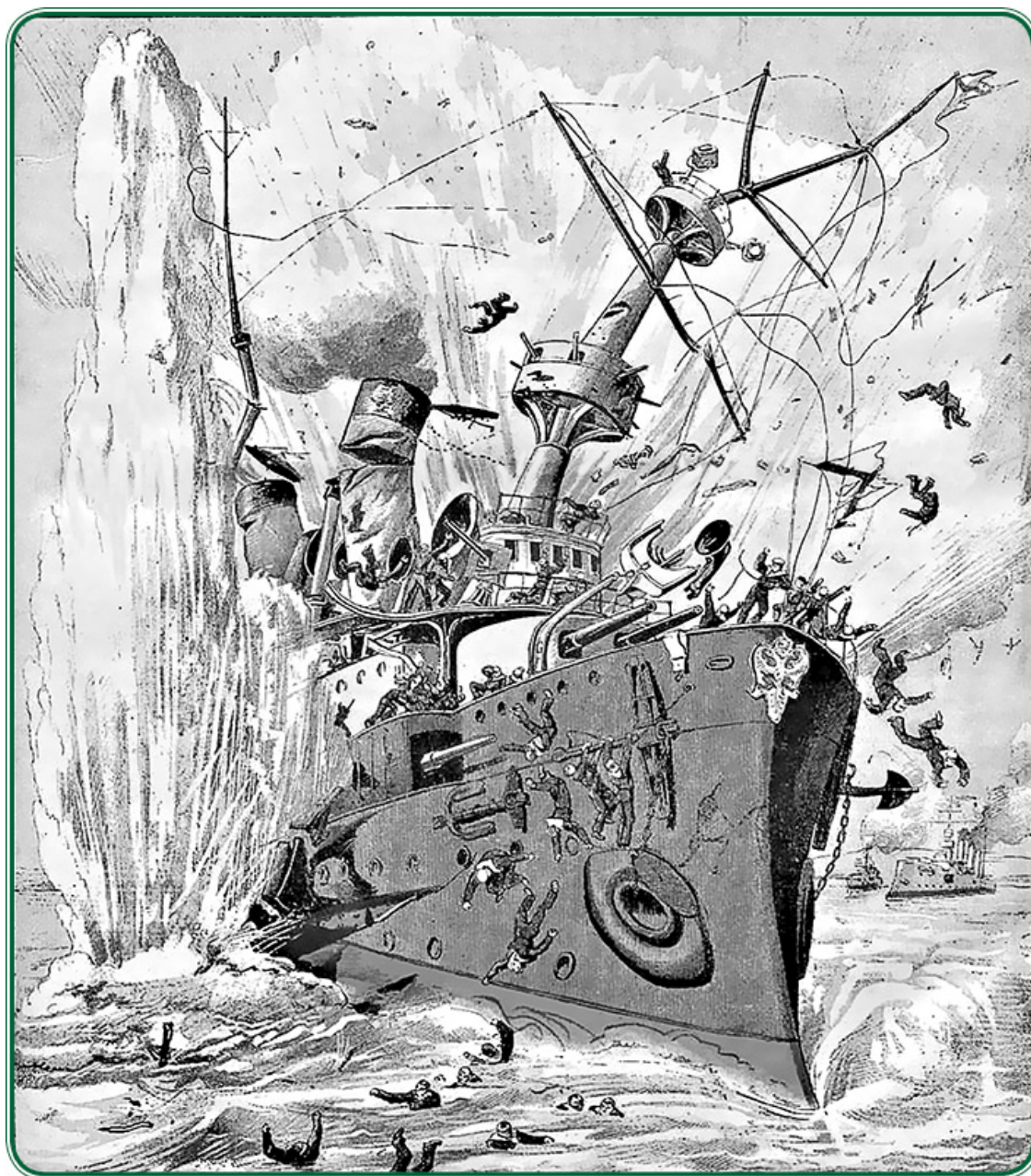
Мать моя приняла известие о предстоящем моем отъезде на войну как нечто вполне естественное, неизбежное. Ничем не проявляла своего волнения, старалась «делать веселое лицо» и при прощании на Варшавском вокзале не проронила ни одной слезинки. Только после моего отъезда, как сознавалась впоследствии, наплакалась вдоволь, вместе со старушкой-нянькой.

До Москвы добрался я благополучно. Получил место в «Сибирском экспрессе». Встретил нескольких товарищей по Генеральному штабу, ехавших также на Дальний Восток. Еще на вокзале узнал от своих спутников, что в нашем поезде едут адмирал Макаров, назначенный на должность командующего Тихоокеанским флотом, и генерал Ренненкампф, назначенный начальником Забайкальской казачьей дивизии.

В те дни, после разгрома у Порт-Артура нашей эскадры, больно отразившегося на настроении флота, да и всей России, назначение адмирала Макарова принято было с глубоким удовлетворением и внушало надежды. Заслуги его были разносторонни и широко известны. Боевой формуляр его начался в Русско-турецкую войну 1877—1878 годов.

Россия не успела еще тогда восстановить свой флот на Черном море. Макаров на приспособленном коммерческом пароходе «Великий князь Константин», с четырьмя минными катерами на нем, наводил панику на регулярный турецкий военный флот: взорвал броненосец, потопил транспорт с целым полком пехоты, делал налеты на турецкие порты... Впоследствии с отрядом моряков принял участие в Ахал-Текинском походе знаменитого генерала Скобелева.

Обязанный своей карьерой исключительно самому себе, он исходил все моря, на всех должностях; разработал большой научный океанографический материал по Черному морю, Ледовитому и Тихому океанам, удостоившись премии Академии наук; внес новые идеи своим трактатом о морской тактике; наконец, построив ледокол «Ермак», положил в России начало борьбе судоходства со льдами. Все это сделало его особенно популярным, и не было человека в России, который бы не знал имени Макарова и его «Ермака».



Гибель броненосца «Петропавловск».
Иллюстрация из журнала «Le Petit» 1904 г.

Храбрый, знающий, честный, энергичный, он, казалось, самой судьбой предназначен был восстановить престиж Андреевского флага в Тихоокеанских водах.

Адмирал Макаров со своим штабом ехал в отдельном вагоне. От чинов его штаба мы знали, что там идет работа: каждый день по несколько часов адмирал занимался планом реорганизации флота, составлением наставлений для его маневрирования и боя. Иногда для собеседования приглашался туда генерал Ренненкампф.

Несколько раз во время пути адмирал заходил в общий салон-вагон, где Ренненкампф представил ему нас – сухопутных офицеров. Я не помню тогдашних разговоров, да и вряд ли они имели принципиальный характер. Но помню хорошо и его внешность – характерно русское лицо, с окладистой бородой, с добрыми и умными глазами, и то обаяние, которое

производила личность адмирала на его собеседников, и ту веру в него, которая невольно зарождалась у нас.

* * *

Второй «знаменитостью» был генерал Ренненкампф, в другой совершенно области. Он приобрел имя и широкую известность в военных кругах во время Китайского похода (1900), за который получил два Георгиевских креста. Военные вообще относились скептически к «героям» Китайской войны, считая ее «не настоящей». Но кавалерийский рейд Ренненкампа, по своей лихости и отваге, заслужил всеобщее признание.

Начался он в конце июля 1900 года, после занятия Айгуна (вблизи Благовещенска). Ренненкампф с небольшим отрядом из трех родов оружия разбил китайцев на сильной позиции по хребту Малого Хингана и, обогнав свою пехоту, с 4½ сотнями казаков и батареей, сделав за три недели 400 км, с непрерывными стычками, захватил внезапным налетом крупный маньчжурский город Цицикар. Отсюда высшее командование предполагало произвести систематическое наступление на Гирин, собрав крупные силы в три полка пехоты, шесть полков конницы и 64 орудия, под начальством известного генерала Каульбарса...

Но, не дожидаясь сбора отряда, генерал Ренненкампф, взяв с собою 10 сотен казаков и батарею, 24 августа двинулся вперед по долине Сунгари; 29-го захватил Бодунэ, где, застигнутые врасплох, сдались ему без боя 1 500 «боксеров»; 8 сентября захватил Каун-Чжен-цзы, оставив тут пять сотен и батарею для обеспечения своего тыла, с остальными пятью сотнями, проделав за сутки 130 км, влетел в Гирин.

Этот бесподобный по быстроте и внезапности налет произвел на китайцев, преувеличивавших до крайности силы Ренненкампа, такое впечатление, что Гирин – второй по количеству населения и по значению город Маньчжурии – сдался, и большой гарнизон его сложил оружие. Горсть казаков Ренненкампа, затерянная среди массы китайцев, в течение нескольких дней, пока не подошли подкрепления, была в преоригинальном положении...

С генералом Ренненкампом во время пути мы были в постоянном общении: в частных беседах и во время докладов, которые кто-нибудь из нас делал на тему о театре войны, о тактике конницы, об японской армии. Ренненкампф делился с нами воспоминаниями о своем походе, весьма скромно касаясь своего личного участия. Устраивали совместно и товарищеские пирушки в вагоне-ресторане, которые, как и впоследствии, в отряде генерала Ренненкампа, не выходили никогда из пределов воинской субординации.

Генерал присутствовал неизменно и на импровизированных «литературных вечерах», на которых ехавшие в нашем поезде три военных корреспондента читали свои статьи, посылаемые с дороги в газеты. Круг наших впечатлений от поездных разговоров, от бесед с чинами обгоняемых воинских эшелонов и от мелькавшей станционной жизни Великого Сибирского пути был ограничен. Писали корреспонденты, в сущности, одно и то же, и нам известное. Но любопытен был индивидуальный подход их к темам.

Сотрудник, кажется, «Биржевых ведомостей», в форме подпоручика запаса, писал вообще скучно и неинтересно. От «Нового времени» ехал журналист и талантливый художник Кравченко. Нарисовал он прекрасный портрет Ренненкампа, щедро наделял нас своими дорожными набросками и вообще пользовался среди пассажиров поезда большими симпатиями. Писал он свои корреспонденции интересно, тепло и необыкновенно правдиво.

От «Русского инвалида» – официальной газеты Военного министерства – ехал подъесаул П. Н. Краснов. Это было первое знакомство мое с человеком, который впоследствии играл большую роль в истории Русской Смуты как командир корпуса, направленного Керенским против большевиков на защиту Временного правительства, потом в качестве Донского атамана в первый период Гражданской войны на Юге России; наконец – в эмиграции и в осо-

бенности в годы Второй мировой войны как яркий представитель германофильского направления. Человек, с которым суждено мне было столкнуться впоследствии на путях противобольшевистской борьбы и государственного строительства.

Статьи Краснова были талантливы, но обладали одним свойством: каждый раз, когда жизненная правда приносилась в жертву «ведомственным» интересам и фантазии, Краснов, несколько конфузясь, прерывал на минуту чтение:

— Здесь, извините, господа, поэтический вымысел — для большего впечатления...

Этот элемент «поэтического вымысла», в ущерб правде, прошел затем красной нитью через всю жизнь Краснова — плодовитого писателя, написавшего десятки томов романов; прошел через сношения атамана с властью Юга России (1918—1919), через позднейшие повествования его о борьбе Дона и, что особенно трагично, через «вдохновенные» призывы его к казачеству — идти под знамена Гитлера.

В поезде за двухнедельное путешествие мы все перезнакомились. И потом, по приказам и газетам, я следил за судьбой своих спутников.

Погиб адмирал Макаров и чины его штаба... 8 марта он прибыл в Порт-Артур, проявил кипучую деятельность, реорганизовал технически и тактически морскую оборону, а главное, поднял дух флота. Но жестокая судьба распорядилась иначе: 12 апреля броненосец «Петропавловск», на котором держал свой флаг адмирал Макаров, от взрыва мины в течение двух минут пошел ко дну, похоронив надежду России.

Генерал Ренненкампф в позднейших боях был ранен, один из его штабных убит, двое ранено; Кравченко погиб в Порт-Артуре; большинство остальных было также перебито или переранено.

Поезд наш отмечен был печатью рока...

* * *

Подъехав к Омску, мы узнали, что командующим Маньчжурской армией назначен генерал Куропаткин. Это известие в общем произвело тогда благоприятное впечатление. Однако немногие, близко соприкасавшиеся с ним по службе, относились отрицательно к его назначению и предсказывали дурной конец.

Особенно резко отзывался о нем известный военный авторитет, генерал Драгомиров: *«Я, подобно Кассандре, — писал он, — часто говорил неприятные истины, вроде того, что предприятие, с виду заманчивое, успеха не сулит; что скрытая ловко бездарность для меня была явной тогда, когда о ней большинство еще не подозревало»*...

Но большинство провидцев стали таковыми только постфактум. Над Куропаткиным веял еще ореол легендарного генерала Скобелева, у которого он был начальником штаба; ценилась его работа по командованию войсками и управлению Закаспийской областью; наконец, и то обстоятельство, что к высоким постам он прошел, не имея никакой протекции, по личным заслугам. Широкие круги, и военные и общественные, и большая часть прессы, при обсуждении кандидатур на командование армией, называли имя Куропаткина.

В то время, перед самой войной, Куропаткин подавал в отставку и был в немилости. И если государь назначил командующим именно его, то только подчиняясь общественному настроению. Да и трудно сказать, на ком тогда мог остановиться его выбор. В армии пользовался большим авторитетом генерал М. И. Драгомиров, но он был уже серьезно болен... Вообще же на верхах русского командования в девятисотых годах наблюдался серьезный кризис.

Итак, надо признать, что в выборе Куропаткина ошибся не только государь, но и Россия.

* * *

Путешествие приходило к концу. Мы пролетали по Великому Сибирскому пути, но даже от такого мимолетного знакомства с краем оставалось впечатление грандиозности железнодорожного строительства, богатства Сибири, своеобразного и прочного уклада сибирской жизни. Все было ново и интересно. К сожалению, больная нога ограничивала мои возможности наблюдения. Только в Иркутске я мог, прихрамывая, пройти по платформе. А когда приехали 5 марта в Харбин, нога моя была почти в порядке.



Заамурский округ пограничной стражи

Для обеспечения маньчжурских железных дорог была создана Охранная стража, вначале из охотников, отбывших обязательный срок службы, преимущественно из казаков, и из офицеров-добровольцев. Стража находилась в подчинении министра финансов Витте, пользовалась его вниманием и более высокими ставками содержания, чем в армии.

Необычные условия жизни в диком краю, в особенности в первое время прокладки железнодорожного пути, сопряженные иногда с лишениями, иногда с большими соблазнами и всегда с опасностями, выработали своеобразный тип «стражника» — смелого, бесшабашного, хорошо знакомого с краем, часто загуливавшего, но всегда готового атаковать противника, не считаясь с его численностью.

К началу Японской войны Охранная стража, переименованная в Заамурский округ пограничной стражи, комплектовалась уже на общем основании и в отношении боевой службы подчинялась командованию Маньчжурской армии: но кадры и традиции остались прежние.

На огромном протяжении Восточной (Забайкалье—Харбин—Владивосток) и Южной ветви Маньчжурских дорог (Харбин—Порт-Артур) расположены были четыре бригады пограничной стражи, общей численностью в 24 тысячи пехоты и конницы и 26 орудий. Эти войска располагались тонкой паутиной вдоль линии, причем в среднем приходилось по 11 человек на километр пути. Понятно поэтому, какое значение имел для Маньчжурской армии, для нашего тыла, вопрос о сохранении нейтралитета Китая.

Явившись в штаб округа, я получил назначение на вновь учрежденную должность начальника штаба 3-й Заамурской бригады. Таким образом, будучи в чине капитана, я по иерархической лестнице перескочил неожиданно две ступеньки, получив и солидный оклад содержания, позволивший мне в несколько месяцев «аннулировать» оставленное в Варшаве «завещание» и позаботиться о матери. Но, вместе с тем, это назначение принесло мне большое разочарование: 3-я бригада располагалась на станции Хандаохэцзы, охраняя путь между Харбином и Владивостоком.

Стремясь всеми силами попасть на войну с японцами, я очутился вдруг на третьестепенном театре, где можно было лишь ожидать стычек с китайцами-хунхузами. Меня «утешали» в штабе, что ожидается движение японцев из Кореи в Приамурский край, на Владивосток, и тогда наша 3-я бригада войдет естественно в сферу военных действий... Но комбинация эта казалась мне маловероятной, и поэтому я смотрел на свое назначение, как на временное, решив перейти на Японский фронт, как только окажется возможным.

В круг моего ведения входили вопросы строевой, боевой и разведочной службы. Милейший командир бригады, полковник Пальчевский, введя меня в курс бригадных дел, предоставил затем широкую инициативу. С ним я трижды проехал на дрезине почти 500-километровую линию, знакомясь со службою каждого поста. С конными отрядами отмахал сотни километров по краю, изучая район, быт населения, знакомясь с китайскими войсками, допущенными вне полосы отчуждения – для охраны внутреннего порядка.

Половина пограничников – на станциях, в резерве, другая поочередно – на пути. В более важных и опасных пунктах стоят «путевые казармы» – словно средневековые замки в миниатюре, окруженные высокой каменной стеной, с круглыми бастиянами и рядом косых бойниц, с наглухо закрытыми воротами.

А между казармами посты – землянки на 4—6 человек, окруженные окопчиком. Служба тяжелая и тревожная; сегодня каждый чин в течение 8 часов патрулирует вдоль пути, завтра 8 часов стоит на посту. Нужен особый навык, чтобы отличить, кто подходит к дороге – мирный китаец или враг. Ибо и простой манза – рабочий, и хунхуз, и китайский солдат одеты совершенно одинаково. Китайские солдаты носили малоприметные отличия, так как начальство их обыкновенно присваивало себе деньги на обмундирование. Когда в первый раз я с командиром бригады объезжал линию на дрезине и увидел впереди трех китайцев с ружьями, пересекавших полотно железной дороги, я спросил:

– Что это за люди?

– Китайские солдаты.

– А как вы их отличаете?

– Да главным образом по тому, что не стреляют по нам, – ответил, улыбаясь, бригадный.

На оборонительные казармы на нашей линии хунхузы нападали редко. Но бывали случаи, что посты они вырезывали. История бригады полна эпизодами мужества и находчивости отдельных чинов ее. Не проходило недели, чтобы не было покушения и на железнодорожный путь. Но делалось это кустарно – из озорства или из мести. Словом, в покушениях этих не видно было японской руки, как это имело место на Южной ветке.

* * *

Знакомство с краем приводило меня к печальным выводам. Необыкновенная консервативность быта маньчжур и китайцев и предвзятое отношение к приносимой извне культуре. Народ темный, невежественный, непредприимчивый, покорный своим властям, которые – от мелкого чиновника до дзяндзюня (губернатора провинции) являлись полновластными распорядителями судеб населения – корыстными и жестокими.

Полное отсутствие охраны труда и крайне низкая оплата его, причем рабочий по кабальному договору становился в рабскую зависимость от предпринимателя. Первобытные и хищнические приемы эксплуатации земли и недр: я видел пылающие покосы и леса – как подготовку к распахке и посевам; видел на копиях в долине р. Муданзяна сохранившуюся от прежних веков систему лопаты и деревянного корыта – для промывки золота...

Проезжал по большой дороге, на которой неожиданная топь пересекала путь. Вереницы китайских арб останавливались, китайцы перепрягали в одну арбу по несколько уносов или, разгрузив арбы, в несколько приемов, налегке преодолевали топь. Такой порядок, по свидетельству старожилов, длился много лет, и никто не думал загатить топкое место...

Маньчжурия покрыта была сетью ханшинных заводов, представлявших одновременно центры меновой торговли и общественного осведомления. Потребление ханшина – очень крепкой китайской водки – в ближайшем к нам Ажехинском районе, например, составляло в год ведро на душу... Китайцы и маньчжуры напивались ханшином, отравлялись опи-

умом и предавались азарту в многочисленных «банковках» – притонах азартной игры, вроде рулетки.

Но главным бедствием края были хунхузы, ставшие неотделимой частью народного быта. Гиринский дзяньдзюнь насчитывал их в одной своей провинции до 80 тысяч. В хунхузы шло все, что было выброшено за борт социального строя нуждой, преследованием или преступлением; все, что не могло ужиться в мертвой петле, затянутой над темным людом жестокими несправедливыми властями; наконец, все, что предпочитало легкое, беспечное, хотя и полное тревог и опасности существование – тяжелой трудовой жизни.



Чины Охранной стражи КВЖД с группой арестованных хунхузов. Фотография. Начало XX в.

В хунхузы шел разоренный чиновниками манза, проигравшийся в «банковке» игрок, обокравший хозяина бой, провинившийся солдат и просто любитель приключений. При этом солдаты, которым надоедало хунхузское жите, возвращались к прежнему ремеслу, нанимаясь на службу в другом округе...

Хунхузские банды выбирали своего начальника, который пользовался неограниченной властью. Начальники распределяли между собой «районы действий», и никогда не слышно было о столкновениях между разными бандами. Хунхузы облагали данью заводы, «банковки», богатых китайцев, грабили подрядчиков и производили поголовные реквизиции в населенных пунктах. Бывали, хоть и редко, налеты на поселки, занятые маленькими русскими гарнизонами.

И пока одна часть хунхузов отвлекала гарнизон, другая захватывала намеченные жертвы в качестве заложников, чтобы получить за них выкуп. По окончании операции

вся банда поспешно отступала. Если же пограничникам удавалось отрезать хунхузам путь отступления, то дрались они с остервенением до последнего.

Ни китайская администрация, ни китайские войсковые части, которых, впрочем, было мало, не вели борьбы против хунхузов. По-видимому, между этими последними существовало молчаливое соглашение: «Вы нас не трогайте, и мы вас не тронем». А народ, беззащитный, терроризированный хунхузами и боявшийся их мести, видел в этом явлении нечто предначертанное судьбой и непреодолимое.

Однажды наш разъезд, идя по следам хунхузов, заехал в китайскую деревню, произвел осмотр фанз и опросил жителей. Все показали, что хунхузов не видели и о них ничего не слышали. Когда разъезд подошел к краю деревни, из одной импани⁴³ раздался вдруг ружейный залп; два пограничника свалились замертво. Разъезд спешил, атаковал импань и перебил хунхузов. Оказалось, что хунхузы эти уже в течение нескольких часов грабили поочередно все дома деревни...

Пленных хунхузов наши части сдавали китайским властям ближайших населенных пунктов. Там их допрашивали и судили китайские суды, причем не было случая, чтобы хунхуз, несмотря на избиение бамбуковыми палками, выдал своих. Затем их подвергали публичной казни, привлекавшей толпы зрителей. Рубили головы. Я не присутствовал никогда на казни, но от своих офицеров слышал, что шли на смерть хунхузы с величайшим спокойствием и полным безразличием.

В Имянпо на вокзале я видел знаменитого хунхузского начальника Яндзыря, пойманного пограничниками и отправляемого в китайский суд. Он пел песни, что-то говорил – очевидно, остроумное, вызывавшее смех у толпившихся возле вагона китайцев, и, увидев меня, смеясь, ломаным русским языком сказал:

– Шанго, капитан, руби голова скорей!..

* * *

Хотя вся Маньчжурия была на военном положении и числилась в военной оккупации, но наши бригады не вмешивались совершенно в управление краем вне железнодорожной полосы отчуждения. Население продолжало жить так же, как до войны и оккупации, конечно, в тех областях, которые не стали театром военных действий. В районах же, занятых пришлыми оккупационными войсками, бывали не раз столкновения с населением на почве постоев, реквизиций и игнорирования местных китайских властей.

Вообще же омрачали наши отношения с китайским населением два фактора, которых я касался не раз и по службе, и в печати и которые составляют – вероятно, и до наших дней – язву колониальной и концессионной практики держав. Это – жадность многих предпринимателей и подрядчиков, бессовестно эксплуатировавших труд китайцев. И второе – рабская зависимость наша от переводчиков. В нашей бригаде, например, один только офицер говорил сносно по-китайски, хотя некоторые несли службу в Маньчжурии с первых дней проведения дороги.

Приходилось довольствоваться китайцами, постигшими русский язык, и двумя-тремя старыми пограничниками, неправильно, но бойко объяснявшимися по-китайски. В большинстве и те, и другие составляли элемент порочный, на совести которого были и вымогательства, и не одна загубленная китайская душа. Тем не менее оккупация имела и положительные стороны: большой спрос на труд, открывшийся огромный рынок для произведений народного хозяйства, оплачиваемых полноценной русской валютой, облегчение сношений и вывоза – все это подымало благосостояние страны.

⁴³ Китайская усадьба. (Примеч. автора.)

Главное командование наше не переставал беспокоить вопрос – подымется ли Китай? Против правого фланга и тыла Маньчжурской армии стоял 10-тысячный китайский отряд генерала Ма и 50-тысячный Юан Шикая... В Северной Маньчжурии небольшие отряды китайских солдат, хунхузы и народная милиция не представляли, конечно, серьезной силы, но были вполне пригодны для партизанской войны, которая могла прорвать тонкую паутину наших двух бригад, стоявших между Забайкальем и Владивостоком, поставив в рискованное положение сообщения армии с Россией...

Как известно, Китай сохранил нейтралитет. Очевидно, русская оккупация не была слишком обременительной для китайского населения, а китайское правительство понимало ясно, чем грозит стране оккупация японская.

* * *

К Пасхе я был произведен в подполковники. Интересная служба в Заамурском округе, доброе отношение командира и сослуживцев, хорошие жизненные условия – все эти положительные стороны не могли удержать меня в Хандаохэцзы. Я побывал в Харбине у начальника округа генерала Чичагова, прося отпустить меня в действующую армию, и получил решительный отказ. В августе решил поехать в Ляоян, в штаб Маньчжурской армии.

Явился к начальнику штаба генералу Сахарову, с которым был хорошо знаком по службе в Варшавском округе. Генерал Сахаров объяснил мне, что Заамурский округ подчинен командующему армией только в оперативном отношении, а распоряжаться личным составом он не может... Вернулся я в удрученном состоянии.

Выручил, однако, случай: капитан Генерального штаба В. попросился из армии на более спокойную службу, по болезненному состоянию. Предложили его генералу Чичагову «в обмен» на меня. Чичагов согласился. И в середине октября я уезжал, наконец, на юг, провожаемый товарищеской пирушкой и добрыми пожеланиями командира и моего штаба, о которых сохранил наилучшие воспоминания.

* * *

Когда я прибыл в штаб Маньчжурской армии, офицер, ведавший назначениями, предложил мне:

– Получена телеграмма, что тяжело ранен и эвакуирован полковник Российский, начальник штаба Забайкальской дивизии генерала Ренненкампа. Не хотите ли туда? Только должен вас предупредить, что штаб этот серьезный – голова там плохо держится на плечах...

– Ничего, Бог не без милости! Охотно принимаю назначение.

На темном фоне маньчжурских неудач и отступлений, среди нескольких старших начальников, пользовавшихся признанием и заслуженной боевой репутацией, голос армии называл и имя генерала Ренненкампа. Понятна поэтому моя радость. В полчаса собрался. При мне состоял конный ординарец Старков, пограничник, по происхождению донской казак – храбрый и расторопный, проделавший со мной все походы до конца войны, награжденный генералом Ренненкампом званием урядника и солдатским Георгиевским крестом. И конный вестовой с вьючной лошастью, поднимавшей походную кровать-чемодан «Гинтера», в которой помещался весь мой несложный скарб.

Велел поседлать коней и двинулся в путь к затерянному в горах Восточному отряду генерала Ренненкампа.



От Тюренчена до Шахэ

Организация управления дальневосточными войсками построена была на неправильных началах. Не было полновластного хозяина. Маньчжурской армией командовал генерал Куропаткин; над ним в звании главнокомандующего стоял наместник, адмирал Алексеев; оба начальника расходились во взглядах на способы ведения войны и обращались со своими разногласиями и жалобами к военному министру и непосредственно к государю.

Далекий Петербург не в силах был, конечно, разбираться в местной обстановке и давал условные рекомендации. Рекомендации Петербурга и приказания наместника, не слишком настойчивые, Куропаткин исполнял «постольку-поскольку», не доводя ни одного решения до конца и упорно преследуя идею избегать решительного сражения до накопления превосходных сил.

Между прочим, Витте, прощаясь с Куропаткиным, дал ему шуточный совет:

– Когда приедете в Мукден, первым делом арестуйте Алексева и в вашем же вагоне отправьте в Петербург, донеся телеграммой государю. А там пусть велит казнить или милловать!

К началу апреля 1904 года Маньчжурская армия располагалась главными силами у Ляояна, выдвинув авангарды: Южный – в район Инкоу и Восточный – к р. Ялу. Последний был отделен от главных сил более чем 200 километров расстояния и трудно проходимыми горными кряжами.

Заперев нашу эскадру в Порт-Артуре, японцы приступили к беспрепятственной высадке на материк. В начале апреля 1-я армия Куроки сосредоточилась на реке Ялу и ударила на Восточный авангард генерала Засулича. Неудачное расположение авангарда и запоздалый отход привели к большим потерям (2700 чел.) в бою под Тюренченом, где японцы имели пятикратное превосходство в силах.

Первая неудача на сухопутном фронте, больно отразившаяся в сознании страны и армии.

Японцы продолжали высадку на Квантуне: в середине июня 2-я армия Оку выдвинулась к Южноманьжурской железной дороге и 3-я армия Ноги готовилась к операциям против Порт-Артура. Скоро крепость отрезана была от внешнего мира.

Наместник Алексеев требовал удара по армии Оку, с целью деблокады Порт-Артура; Куропаткин же решил предоставить крепость собственной участи – впредь до подхода из России подкреплений. Летели телеграммы в Петербург. Государь стал на сторону наместника, и последний приказал силам не менее 48 батальонов идти на выручку Порт-Артура.

Куропаткин исполнил приказ лишь относительно: двинул корпус генерала Штакельберга в 32 батальона, дал ему ограниченную задачу – отвлечь на себя возможно больше японских войск от Порт-Артура и напутствовал обычным предостережением: в решительный бой с превосходящими силами противника не вступать.

Оку ввел в дело силы не многим большие, чем у нас. 13—15 июня происходит бой у Вафангоу – бой нерешительный, без видимого перевеса на чью-либо сторону. Но Штакельберг отступил к Ташичао, не преследуемый японцами, которые, как оказалось, испытывали большое утомление и к тому же большой недостаток в продовольствии и в снабжении, благодаря размытым дорогам.

Вафангоу – второй удар по самочувствию армии.

Наместник, под влиянием своего штаба, настойчиво понуждал Куропаткина к активным действиям. Он требовал теперь, удерживая японцев на юге, Восточным отрядом перейти в наступление на Куроки, занимавшего фронт в горах, к юго-востоку от Ляояна. Частное наступление генерала графа Келлера в этом направлении и было произведено, но крайне неудачно, благодаря тактическим ошибкам. Благородный человек, но мало служивший до войны в строю, граф Келлер – случай, вероятно, единственный – имел мужество в своем донесении сказать: «Неприятель превосходит нас только в умении действовать». И всю вину за неудачу приписывал своему неумению. В последующих боях он был убит.

22 июля генерал Куропаткин нашел, наконец, возможным нанести «решительный удар» Куроки. Он усилил Восточный отряд двумя прибывшими из России корпусами, переехал в район отряда и сам стал во главе его. Южному отряду, которым командовал генерал Зарубаев и который прикрывал направление на Ляоян вдоль железной дороги, приказано было в решительный бой с превосходными силами японцев не вступать...

Но 23 июля Оку атаковал Зарубаев силами почти равными (48 батальонов, 258 орудий против наших 45 батальонов, 122 орудий) под Ташичао. Наша артиллерия, хотя и более слабая, перешедшая, наконец, на закрытые позиции, с успехом вела борьбу. Все атаки японцев были отбиты, японцы явно переутомились. Настроение наших войск было прекрасное, резервы еще не израсходованы. Но... в ночь на 25 июля Зарубаев отступил к Хайчену...

«Ничем не оправданное отступление» – доносил наместник государю. Этот эпизод не имел никаких последствий для виновника его. Впрочем, я должен оговориться: в последующих боях под Ляояном генерал Зарубаев дрался доблестно.

Неудача под Ташичао имела два важных последствия: эвакуацию нами Инкоу и занятие японцами ближайших к железнодорожной магистрали портов, что значительно облегчило подвоз снабжения к их армиям. И второе... отказ Куропаткина от занесенного уже над Куроки удара.

* * *

К концу августа русская армия, уже превосходившая численно японцев, располагалась впереди сильно укрепленного Ляояна.

Чувствуя всеобщее осуждение своей «отступательной» стратегии, Куропаткин обронил фразу, которая облетела армию и подняла настроение:

– От Ляояна не уйду!

30 августа началось наступление трех японских армий (Куроки, Нодзу и Оку) на передовые Ляоянские позиции. Два дня длился бой. Был момент, о котором сторонний наблюдатель, английский военный агент генерал Гамильтон, писал впоследствии: *«Штаб Куроки испуган, японцы отступают. Еще напряжение, и русские разрежали бы армию Куроки надвое, расстроив транспорты армии»*...

Но в ночь на 1 сентября, по приказу Куропаткина, армия отводится на главные позиции.



Генерал Куропаткин во время битвы за Ляоян.
Японский рисунок. 1904 г.

Центром позиции были укрепления Ляояна, занятые тремя корпусами генерала Зарубаева. На этой позиции он в течение 60 часов отбивал все атаки Оку и Нодзу, с большими для них потерями. Об этих боях в походном дневнике швейцарского военного агента полковника Ф. Герча записано: *«Ляоянский гарнизон дрался с изумительным упорством... Ведь нет подъема, одни неудачи, и все же – “исполнение долга”»*...

Отряд, стоявший западнее Ляояна, сам переходил в наступление, и хотя понес большие потери, но держался крепко. На Восточном фронте на Сын-квантунской позиции шли успешные бои, и Куропаткин организовал контрнаступление тремя корпусами, под личной своей командой в охват с востока армии Куроки. Но уже с самого начала наступательный порыв «оси захождения» был приглушен лейтмотивом куропаткинской стратегии: *«Если на позиции Сынквантунь держаться будет невозможно, то, не ввязываясь в упорный бой, займите следующую позицию»*.

А когда стоявший за левым флангом отряд генерала Орлова был потеснен, то и обходящему корпусу приказано было не продвигаться вперед.

Приводя в самых общих чертах обзор кампании, я не имею возможности останавливаться на действиях частных начальников и войск. Несомненно, что и в них было немало ошибок, как в этом сражении, так и в других, влиявших на решения командующего. Но раз-

решение отступить, даваемое до боя, заранее подрывало психологически наступательный импульс, вносило элемент неуверенности в распоряжения начальников и действия войск.

При таких условиях на Восточном фронте шло кровопролитное сражение. О боях на Сынквантуне Гамильтон записывал: *«Японцы признавали, что победа или поражение в течение нескольких часов колебалась одинаково между обеими сторонами».*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.